



ЖОЗЕФ Д'АРБО

Чудище из Ваккареса

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Натальи Кончаловской

Несколько слов от переводчика

Три года назад в столице Прованса, Арле, в день вручения музею «Арлатен» поэмы «Мирей» провансальского классика Мистралья, впервые переведенного мною на русский язык, муниципалитетом Арля был дан прием, на котором ко мне подошел громадного роста человек в бархатном пиджаке и узких ковбойских клетчатых брюках, в одной руке он держал сомбреро, в другой — книжку. Это был старшина Провансальской ассоциации пастухов — Марсель Майан.

— Мадам,— сказал он,— разрешите мне преподнести вам книжку нашего лучшего после Мистралья поэта — Жозефа д'Арбо. Он воспевал наши давние пастушеские традиции, нашу жизнь, нашу природу. Через три года у нас будет национальный праздник— 464-я годовщина древнего Братства пастухов Прованса. И нам бы хотелось, чтобы русские читатели в Советском Союзе познакомились с его творчеством. Жозеф д'Арбо — это наша гордость, в литературе Прованса эта повесть считается шедевром!..— И старшина вручил мне повесть Жозефа д'Арбо «Чудище из Ваккареса».

Она оказалась действительно маленьким шедевром. Автор пишет ее от лица пастуха, встретившего в 1417 году в солончаках Камарги последнего, оставшегося от древних языческих времен фавна.

В апреле этого года, к столетию со дня рождения знаменитого провансальского классика, состоялось открытие памятника Жозефу д'Арбо, умершему в 1950 году. Он посвятил жизнь поэзии и прозе, оставив в наследство новому поколению несколько томов своих произведений — стихов, очень современных по форме, и четкой, умной, блистательной прозы.

Д'Арбо писал по-провансальски и сам переводил свои произведения на французский язык. Хоть он и ученик Мистралья, однако он далеко превзошел своего учителя в образности языка и свободе формы. Я это почувствовала, переводя после Мистралья повесть д'Арбо и стихи из его сборника «Лавры Арля». И если у Мистралья на всем его творчестве лежат печать буржуазного благодушия XIX века, то у д'Арбо налицо взрывчатая сила постов XX века, хотя все его творчество уходит корнями вглубь столетий, пронизано исконной силой и целомудрием древнего пастушества.

В предисловии к «Чудищу из Ваккареса» критик и литературовед Луи Байль пишет, что Жозеф д'Арбо, закончив факультет права в Эксе, покинул доставшийся ему по наследству великолепный

дворец в Авиньоне и ушел в Камаргские степи, в пастушескую хижину неподалеку от городка Сент-Мари-де-ля-Мер, откуда лишь болезнь заставила его уехать.

«Невозможно вспоминать без волнения об этом человеке, поэте, решившем посвятить жизнь служению своему идеалу. В поисках абсолюта он выбрал край голой, нетронутой земли и аскетизмом, отречением, возвращением к истории питал свой гений, в то же время приобретая то, чего искал с самого начала,— контакт с еще не тронутым цивилизацией краем, который еще не знает, что такое толпа, не ведает компромиссов... Страницы «Чудища» рождались в тишине на берегах озер, в длительном общении с солончаками, которые доносят дыхание суровых просторов»,— так пишет о поэте Луи Байль.

Выполняя просьбу Провансальской ассоциации пастухов, я с большим удовольствием перевела «Чудище из Ваккареса» для того, чтобы наши читатели могли познакомиться с творчеством провансальского писателя и поэта Жозефа д'Арбо.

Обращение к читателю

От долины Арля до Нимского края, между Альпями и Севеннами «бычьи люди» — все, кого связывала передающаяся из рода в род страсть, знают: году этак в 1904-м служил у меня «байлем», то есть старшим пастухом моего стада — манады, пасущейся в местности Кабан, на берегу Большой Роны,— Жак-Антуан Рекулен по прозвищу Длинный Тони.

Он был большой, тощий, гибкий, с хитрым выбритым лицом, густые седые волосы покрывали виски и его проконсульский затылок под широкими дугами бровей плясали маленькие, жесткие и настоженные глаза. Отличный тип камаргского всадника и ничего более, но вид его заставлял с почтением отзываться о Старшем и Легионере немногих придиричивых визитеров, которых я принимал изредка, от случая к случаю.

Умный, хотя и неграмотный, как большинство пастухов того времени (ведь в ту пору, о которой идет речь, Длинный Тони был уже весьма немолод), он относился к книгам с недоверием, уважением и смутным суеверным страхом, который выражал почти всегда одинаково.

Вижу его, как сейчас. Обычно безмолвный, словно рыба, он вдруг вынимал изо рта трубку, устремлял глаза на маленькую библиотеку, занимавшую в моей хижине полку старого буфета, снова совал трубку в рот и, проглотив слюну, поворачивался ко мне. И я примерно знал, что мне придется услышать:

— Книжек-то, однако! И подумать только — ведь все, что здесь на бумаге, вы можете держать у себя в голове, эту штуку мне трудно понять. Образование — это прекрасно, ничего не скажешь, но это все непросто. Сесть верхом на дикую лошадь, объездить ее, приучить к быкам — трудное дело, но надо ли для этого уметь читать? Читать! Я не говорю, что это плохая штука, но ведь от этого в конце концов ум за разум зайдет.

Однажды зимним вечером, когда, вернувшись с охоты, мы сидели перед пылающими ветвями тамариска, отхлебывая полегоньку «зеленую» в ожидании похлебки из угрей, которая булькала в котелке над огнем, Длинный Тони вдруг сказал:

— Как только поужинаю, тут же заберусь на сеновал. Не стоит так маяться из-за утиной охоты. Надо же было сапоги промочить, лезть в середину пруда за этой тварью. А вы, я уверен, будете читать. Чтение — страсть вроде страсти к быкам. У меня в Арле есть книга, над которой вы, пожалуй, призадумаетесь. Надо будет как-нибудь ее вам принести. Она с начала до конца вся написана от руки, и никто не скажет, когда это было. Мне она перешла от двоюродного дедушки моей матери, его звали Галастр, и он был когда-то знаменитым пастухом. Жена — свидетельница, что я никому не хотел продавать эту книгу, но стойте-ка!.. Она должна быть вашей!.. Спокойной ночи всем!.. Если вы в этой книге разберетесь, значит, вы человек!

Как известно, Длинный Тони умер в 1912 году. Его жена выполнила данное им обещание. Благодаря ей и наследникам Старшего, я мог переписать эти страницы. Я их всенародно благодарю... Манускрипт этот — толстая книга записей, переплетенная в пергамент и кожу, местами изъеденную крысами и молью. Письмо пожелтевшее, стертое и почти неразличимое. Некоторые страницы когда-то намokли или слишком долго пролежали в сырости и потому покрыты плесенью, а когда их перелистываешь, рассыпаются в прах.

Я восстановил текст так точно, как только мог. Во многих местах я вынужден был его обрабатывать, даже переводить, чтобы сделать понятной эту невероятную смесь французского, провансальского и убогой латыни церковных служек.

Автор, по собственным показаниям, жил около середины XV столетия, видимо, он был сыном пастуха и сам был пастухом, несколько более образованным, нежели его товарищи и сверстники, чем-то вроде клерка, и все же он был жалким писакой, выпендрившим и неумным болтуном. Это замечаешь сразу же, едва начав читать страницу за страницей.

Я старался сохранить примитивный стиль и обороты речи, пытаясь лишь увязать меж собой, где это возможно, куски бессвязного текста. Из-за плохого состояния манускрипта эта работа была весьма неблагоприятной.

Литературы, насколько мы можем судить, тут нет нимало.

Я довольствуюсь тем, что обрабатываю сбивчивое, полное неясностей и частых повторений повествование, которому его искренность и особая таинственность тем не менее все же сообщают некоторый интерес.

Все это могло быть утеряно, если б не проницательность Длинного Тони, завещавшего мне рукопись.

Перед некоторыми читателями я должен извиниться. Быть может, они бы предпочли получить что-то другое вместо этого очень монотонного и бесцветного изложения. Но кто в наши дни не знает привлекательности старья? Какие великие умы не испытывали удовольствия от сложных и несуразных выдумок?

Что касается меня, то признаюсь, что прилагал все усилия, чтобы быть ближе к подлиннику. Я прежде всего запрещал себе всякое кокетство ученостью, излишнее копание в архаизмах и реконструкцию обстановки самого действия, а также синтаксиса и словаря.

Думаю, что люди с хорошим вкусом будут мне признательны за то, что я отнюдь не стремился к столь легким эффектам.

Глава первая

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Богоматери — Покровительницы морей и наших святых Марий. Сегодня, одиннадцатого числа месяца апреля, в святое воскресенье Пасхи, в году 1417-м, я, Жак Рубо, по прозвищу Конопатый, пастух манады быков, пасущейся в местах, называемых Малагруа, Империи и Ръез, начинаю писать в этой тетради.

И приступая к этому, я хочу прежде всего поставить во главе этой страницы знак креста — символ моего искупления, намереваясь торжественно поклясться моим местом в раю и вечным спасением в полной подлинной правде всего мною ниже сообщаемого и всего того, что в дальнейшем я, возможно, буду вынужден сообщить...

Все, что я видел и слышал в тот день, стало для меня причиной больших мучений и длительных размышлений, и, видя всю невозможность найти самому естественное объяснение этим событиям, я хочу записать все, как оно было, исполненный уверенности, что когда-нибудь более ученые

люди сумеют извлечь пользу из описанных мною обстоятельств.

Тот или те, чьим глазам Провидение откроет тайну этой книги, не должны нимало удивляться, найдя столь высокую осведомленность у человека моего положения, которую не так легко встретить среди моих товарищей, пастухов диких пастбищ. Если я не совсем невежествен, то лишь потому, что смолоду готовился к чести принять сан священника, однако большое несчастье вынудило меня бросить все дела и не надеяться более посвятить себя служению святой церкви. Но тем не менее я благодарю небо за то, что несколько более, чем другие, сознавал свои ошибки, бремя которых сделало невозможным завершение взятого на себя ныне труда.

У моего отца Андре Рубо, пастуха «россатины», то есть табуна камаргских лошадей, которых он перегонял через Сильву для монахов Псалмоди, был брат Оноре Рубо. Воспитанный под покровительством аббата, Оноре принял сан священника, а позднее стал каноником досточтимого Капитула главного собора в Арле.

Этот каноник Рубо, мой дядюшка, испытывал ко мне глубокую отеческую привязанность. Могу сказать, что, приставленный к нему, я был воспитан его заботами, наставлен в Писании, обучен латинскому и греческому языкам, прислуживал ему в алтаре на утренней мессе, сопровождал его в прогулках, и у меня было свое место за его столом — я точно был его собственным сыном. И я вправду испытывал к нему искреннюю душевную привязанность. Спал я на мягкой постели в белом доме подле Арены, а днем бегал сколько вздумается по аллеям небольшого сада, который приносил осенью обильные прекрасные плоды.

Увы! Чумная лихорадка, опустошившая наш край, унесла моего благодетеля, едва я достиг пятнадцати лет, она поразила и меня самого, превратив в убогого калеку.

Лишившись моего покровителя, я принужден был вернуться к манаде, снова сесть в седло и взять в руку трезубец. Я не испытываю сожаления. У каждого ремесла свои преимущества и к каждому привыкаешь. Я люблю мою профессию — профессию моих отцов и пращуров, дающую мне спокойную и свободную жизнь.

Хорошо помню, что так же думал и мой дядюшка-каноник.

— Понимаешь, малыш,— говорил он мне, когда в сумерках мы наблюдали, как пастухи гонят камаргские стада через болота, и видели, как они исчезают за линией горизонта,— понимаешь, малыш, никогда не следует с высоты той вершины, на которую тебя вознесло Провидение, пренебрегать делом твоего отца. Ремесло пастуха — это прекрасное ремесло, продолжающее патриархальные традиции. Не в уединении ли чистая душа лучше всего постигает миропорядок и присутствие бога?

Бедный почтенный мой дядюшка! Почему его нет со мной? Мне не пришлось бы сейчас мараить эти страницы, дабы освободиться хоть немного от того, что меня преследует. Ибо я не решаюсь ни с кем быть до конца искренним. Сколько раз в часы бессонницы или одиночества, трусая на лошади через болота Малагруа, я принимал решение во всем признаться и наконец все сказать? Да простят меня святые или да лишат меня своей милости! Я знал, что не смогу. Но однажды я решился. Сел в седло, а добраться до храма Богоматери — Покровительницы морей не осмелился. Я чувствовал, что не сумею открыться ни осторожнейшему отцу аббату, ни нашему почтеннейшему кюре. Нет, даже в тайной исповеди. Страх подавляет все мои чувства, смыкает мне уста. Если я свободно расскажу обо всем, что меня преследует, меня примут за сумасшедшего. Да и живем мы в те времена, когда члены Церковного суда не отличаются снисходительностью и когда от всяких чудес пахнет костром. И хоть нет ни ворожбы, ни бесовства в том, что мне известно — я в этом совершенно убежден,— все же страх мой был слишком велик.

Повторяю, что пишу эти страницы для того, чтобы облегчить душу. Из предосторожности я буду держать их в тайне, чтобы они меня не подвели, пока я жив.

Прежде чем рассказать основное из того, что со мной произошло, я должен отметить один случай, который произошел несколько раньше и не заслуживал бы упоминания, если б не оказался первым сигналом происшествий, отныне беспрестанно и тиранически преследующих меня, как наваждение.

Однажды вечером я возвращался в мою хижину в Рьеже, в ту самую хижину, где я сейчас пишу, склонившись над тетрадью.

Все камаргцы знают Рьеж. Но очень может быть, что неизвестный, который когда-нибудь прочтет мою тетрадь, не знает — хоть это и маловероятно, — что Рьеж под рукой ли человека, силою ли природы изменился; потому считаю нужным предусмотрительности ради дать на этот счет несколько кратких пояснений.

Рьеж, протянувшийся на восток и чуть-чуть на север от знаменитого храма Богоматери, между озером Ваккарес и побережьем, представляет собой довольно узкую лесную полосу длиной в два или три лье, состоящую из островков. Они выступают из болот, не высыхающих из-за паводков и связанных непосредственно с морем. Эти островки (мы называем их «радо», то есть плоты) всегда покрыты частыми кустами лентиска, оливастры и душистыми деревьями финикийского можжевела — мурвена, иногда оплетенными, как путами, лианами колючей тиграссы. Леса эти кишат зайцами и лисами, нередко там и дикие кошки, я иногда убивал там волков, а несколько раз выслеживал даже опасных рысей. Вокруг островков, на ослепительных солончаковых пространствах колеблются миражи. Зима сгоняет туда водоплавающую дичь в невероятном изобилии: гусей, уток, нырков, как известно, порожденных морской пеной; несчетно весенней дичи: чибисов, зуйков, красноножек и фламинго, чьи огромные розовые стаи отражаются в пустынных водах Ваккареса.

В жару Рьеж, лишенный пресной воды и сожженный засухой, осаждают мухи-язвенницы, докучающие скоту, но в течение зимнего сезона на песчаной земле трава остается свежей, и наступает время, когда заросли мурвена служат хорошим укрытием для манады.

Итак, я возвращался в тот вечер на моей лошади по кличке Лунная низиной Империи, где я поставил силки на уток. Было не больше шести часов вечера, но стояли самые короткие дни декабря перед новолунием, и наступившая ночь была черна.

Надо сказать, для того чтобы добраться до радо, необходимо тщательно выбирать проходы, так называемые «газы», иначе неминуемо увязнешь и бесславно погибнешь в зыбкой жиже, покрывающей почти все пространство возле этих озер. Пастухи знают это.

Я без помехи преодолел газу, которую именуют «Барышницей», и Лунная, не замочив ног, направлялась по островку прямо к моей хижине. Она прибавляла шаг, прядая ушами и часто дыша, — по такому дыханию мы, камаргцы, угадываем, что лошадь знает дорогу и рада этому; и вдруг она резко отскочила в сторону, подкинув меня в седле, а затем вернулась на тропу, и я заметил удиравшее и скрывшееся в кустах существо, которое я в темноте не успел как следует разглядеть.

«Может, это был браконьер из Виль-де-ля-Мер?» — подумал я, зная, что кое-кто из них иногда охотится в Рьеже. Но я почти со всеми ними был знаком, и встреча со мной не должна была их так напугать. Я придержал лошадь, и два или три раза крикнул в темноту. Никто не ответил, и, как я ни старался, больше разглядеть мне ничего не удалось. Я решил, что спугнул каких-то охотников или — хоть это редко случается в наших краях — каких-нибудь подозрительных бродяг, быть может заключенных, сбежавших с каторги из Арля или из Тарасконской тюрьмы и пробиравшихся через эти пустынные места. Как вскоре обнаружилось, ошибка моя была велика. Признаюсь, что тогда я не придавал особого значения этому происшествию, но Лунная, взъерошенная и

насторожившаяся, чуть ли не на каждом шагу становилась на дыбы от страха и все фыркала до самого порога моей хижины.

Через несколько дней на крайней северной точке островка Зари я заметил следы, как по-пастушески мы выражаемся, «клинья», изучение которых повергло меня в самое серьезное недоумение. Вполне вероятно, что ненаметанный глаз мог спутать их с многочисленными в этом месте беспорядочными следами моих быков, но для пастуха, привыкшего с одного взгляда на след определять почти точно вес и возраст животного и силу и стремительность его движения, ошибка была бы непростительной. Раздвоенный след не был оставлен копытом быка, в этом я ни минуты не сомневался. Отпечаток был длиннее и уже бычьего, гораздо меньше вдавлен в землю, и шаги казались неровными.

Любопытство заставило меня проехать по этим следам еще пол-лье к востоку, но, переправляясь через озеро, я потерял их и уже не нашел на сухом берегу. И так как в этот день я искал большого бычка, скитавшегося где-то на опушке Бадона, мне пришлось отказаться от преследования.

Однако надолго его мне не удалось отложить, поскольку на другой день я нашел такие же следы на берегу озерца Редон. Они шли по болоту, неровные, но очень отчетливые, ясно отпечатавшиеся на болотистой почве,— то они топтались на месте, то снова уходили и снова останавливались, а потом окончательно исчезли в камышовой поросли. На этот раз у меня было время, я шел по следам, и пыл мой возрастал по мере того, как подтверждались мои предположения. Несомненно, это был один из тех диких кабанов, что водятся в Сильве, но редко встречаются на наших низинах, поскольку не любят открытых пространств. Судя по длине его шагов, ясно было, что животное чудовищно большое. Но, уезжая из дома, я не преминул захватить с собой трезубец — на случай, подумал я, если придется помериться силами с опасным зверем.

«Клиньев» я больше не видел, но приноровился шагать по проходу, проделанному этим старым кабаном в зарослях камыша, в это время года совершенно иссохшего. Несмотря на то что просека, как мне казалось, была слишком узка и мала для тяжелого животного на довольно коротких ногах, я прилагал все усилия, чтобы не уклониться в сторону, и был начеку, когда трусоватая Лунная отскочила без мало-мальски видимой причины в сторону и попала задними ногами в трясину,— тут уж пришлось нам хватить горя, хоть мы в конце концов и выбрались оттуда невредимыми. Оказавшись на твердой почве, я понял, что след потерян. И так как начало темнеть, я постарался заметить, в каком направлении надо будет завтра возобновить преследование, пообещав себе объехать вокруг весь Редон.

На следующий день я снова вскочил в седло. Я был полон решимости найти животное по следу и захватить его, если только смогу. Но, отыскивая дорогу в его логово (частые следы говорили о том, что оно выбрало для стоянки наши места), я не захватил с собой мою собаку Расклета — перед уходом я запер ее в хижине в Рьеже. Чтобы иметь в своем распоряжении больше времени, я позавтракал спозаранку и набил котомку орехами и сушеными фигами, твердо решив продолжать поиски до вечера и не прекращать их, пока я не добьюсь результата.

В этот день, девятого января, погода была хорошая, небо ясное и слегка дула трамонтана. Я поехал вдоль озер в направлении к юго-востоку. Лунная шла шагом, я неотрывно смотрел на землю, пытаюсь ничего не упустить. Два или три раза я останавливался и слезал с лошади, чтобы рассмотреть поближе следы какого-то зверя, смешанные со следами моих быков и на первый взгляд, казалось, указывавшие на то, что он здесь прошел. Но за все утро, должен сказать, я не нашел ничего, что бы подтверждало это.

И только около часа пополудни я обнаружил по-настоящему свежую цепочку следов. Она начиналась в Фурнеле и поднималась в сторону озерца Редон. Я ехал по ней с легким сердцебиением, подгоняя Лунную каблуками и икрами,— следы были на этот раз совсем недавние. Несомненно, животное прошло здесь всего несколько часов назад. Но вот я подъехал к болотам и зарослям камыша, куда вели следы, и дальше уже не мог продолжать преследование, ибо, как и накануне, я продвигался только узкими тропами, проделанными животными, а потому

через некоторое время снова потерял след. Тем не менее торопиться мне было некуда — солнце было еще высоко для этого времени года,— и я решил ехать напрямик сквозь заросли, попеременно сворачивая с запада на восток и с востока на запад, избегая знакомых болотистых, топких мест, куда я мог провалиться вместе с лошастью.

К ночи трамонтана посвежела и стало быстро подмерзать. Так как я двигался против ветра, то, ни на минуту не переставая следить за тропой, я поднял воротник и надвинул на лоб бобровую шапку. Вдруг Лунная сделала скачок в сторону, потом рванулась вперед и, храпя, упершись всеми четырьмя ногами, встала как вкопанная. В ту же минуту сквозь камыши, здесь очень густые, я увидел, как мимо меня проскользнуло что-то плохо различимое и темное. Я быстро пустил лошадь галопом, но она снова остановилась, вся в поту, фыркающая и извиваясь точно уж. Я видел, что камыш колеблется не более чем в ста шагах от меня, и, рассвирепев, вонзил шпоры в бока лошади с такой яростью, что она, сделав несколько прыжков подряд, опустила голову и выгнула хребет, стремясь сбросить меня с седла; но не добившись своего никакими уловками, пошла, дрожа подо мной и подчиняясь моей руке, хотя по-прежнему пыталась уклониться от направления, которого я всеми силами держался. Теперь мне казалось, что я не продвигаюсь вовсе, и, боясь снова потерять цель моего преследования, я жестоко пришпорил лошадь, чтобы она шла быстрее. Лунная в конце концов снова подчинилась, но ненадолго. Она отпрянула в сторону и едва не провалилась в трясину, стараясь уклониться от темного силуэта зверя, спрятавшегося в самой гуще зарослей.

Я остановился и, держась за древко трезубца, попытался выяснить, что за дичь я преследую. Признаюсь, мне было не по себе, и испуг моей лошади, трепетавшей подо мной, передавался и мне.

Животное оказалось не таким опасным, каким я его себе представлял. Меж спутанными камышами я с трудом разглядел задние ноги, покрытые серовато-рыжей длинной шерстью, и пару раздвоенных копыт — их я определил тотчас же. Но вот что меня поразило: я заметил нечто вроде военного плаща из толстой ткани, наброшенного на хребет зверя, до крестца. Присев на корточки, зверь прятал под ним передние ноги и голову. Я боялся спугнуть его при новой попытке приблизиться и, чувствуя, что Лунная от страха вся напряглась, готовая защищаться, решил привлечь внимание этого странного существа и заставить его на меня взглянуть.

Я спокойно набрал воздуха и испустил тот гортанный крик, которым пользуемся мы — пастухи, когда нам надо остановить или же, наоборот, подогнать молодых бычков:

— Хэй! Хэй-хэй! Хэй-хэй-хэй!

Но едва я крикнул второй раз, как почувствовал, что волосы мои под шапкой встали дыбом, а по спине заструился холодный пот, и я принужден был схватиться за гриву лошади, чтобы не упасть: у повернувшегося ко мне зверя было человеческое лицо.

Несмотря на потрясение я отлично разглядел это смелое лицо: невзгоды и старость избородили его, а дикие глаза горели таким скорбным пламенем, что взгляд мой с трудом вынес его. Я помню все эти детали, разумеется замеченные мною тотчас же и лишь увеличившие мое смятение.

Я вполне убежден, что до сих пор не переживал ничего подобного.

Но мало этого. Я почувствовал зловонное дыхание на своем лице и подскочил в седле от отвращения и ужаса, потому что заметил растущие по обеим сторонам широкого лба, возвышавшегося над уродливым лицом, рога. Да! Два рога. Один жалкий, сломанный посередине, а второй наполовину закрученный в завиток, оба неровные и испачканные в тине. Такие, без сомнения, бывают у таинственных ночных козлов, в честь которых, говорят, совершаются нечестивые мессы во время шабаша. Невольно защищаясь, я поднял руку и осенил воздух крестным знаменем, одновременно произнес слова заклинания от злых духов. Точно такие, как я слышал от дяди-каноника, когда он однажды изгонял злых духов из тела одержимой женщины на пороге собора Мажор: *«Recede... immundissime. Imperat tibi Deus Pater... et Filius...*

et spiritus sanctus!..»

Признаюсь, я укреплял самого себя, повторяя слова заклинаний, когда-то выученных мною и вспомнившихся в момент крайней опасности. По правде говоря, я надеялся, что этот Велиал рассеется точно туман передо мной, как вдруг, к моему великому изумлению, Чудище (как мне его еще назвать?) с трудом поднялось на свои негнущиеся ноги, и на разгладившемся его лице я увидел выражение кротости и прорезавшуюся словно луч меланхолическую улыбку.

— Человек, не тревожься. Я не демон, которого ты боишься. Ты христианин, я это вижу... Ты христианин. Но я не демон...

Чудище говорило. Его надтреснутый голос звучал торжественно, неторопливо и даже как-то пленительно. Я слушал его ошеломленный и чувствовал, как мало-помалу исчезает мой ужас и по венам растекается необъяснимое успокоение, но вдруг я увидел, как раздвинулся его рот над деснами почти без зубов и морщинистое лицо внезапно сложилось в подлинно дьявольскую усмешку. И тут же страшный смех разорвал воздух — я вынужден был опустить глаза под палящим огненным взглядом:

— Я не демон! Я не демон!

Зрачки Чудища, казалось, утонули в тумане, и я увидел, что на причудливое лицо снова легла печать утомления и неизъяснимой кротости.

— Я не демон, а ты меня боишься, о человек, и ты осеняешь мой рогатый лоб крестным знаменем. И почему, сидя на коне, вооруженный трезубцем, ты преследуешь меня? Почему? Что я тебе сделал? Этот край — последнее место, где я хоть отчасти обрел мир и священное одиночество, которым я наслаждался, когда испытывал свои молодые силы. Тогда царствовал я — хозяин тишины и времени, хозяин бесчисленных голосов насекомых равнины, их песен, возносящихся к звездам, переливающихся и растворяющихся в бездне бесконечности. Здесь, в заболоченных солончаках, пересеченных озерами и песчаными отмелями, слушая рев быков и ржание диких жеребцов, глядя днем из укрытия, как на горизонте над раскаленной землей трепещет марево, следя ночью, как на морских водах танцует, сверкая, обнаженная луна, я некоторое время знал подобие счастья. Да, счастья... Что глядишь на меня округлившимися глазами разинув рот и почему ты такой бледный, как будто от одного моего вида готов умереть? Ведь я был счастлив, а теперь я сломлен, разбит, побежден, и все же эта опустошенная земля, едва поддерживающая жизнь в моем дряхлом теле, эта земля наделяет меня своим диким дыханием, без него я не мог бы жить, и ради него я покинул прекрасные луга, цветущие сады и теплые песчаные отмели, где день и ночь вздыхает море, вздымаясь, точно молодая грудь, то волнующаяся, то замирающая. Бедный человек! Вот ты уже много дней нетерпеливо преследуешь меня, вооружившись, чтоб загнать меня, ты безжалостно травишь меня, как свирепого хищника, дабы завладеть его жалкой шкурой. Так неужели мой покой и мое грустное счастье кончатся, потому что сегодня вечером человек столкнулся со мной лицом к лицу? Отвечай же! Чего ты от меня хочешь?

Я неподвижно сидел на лошади. Зубы мои стучали, губы невольно сжались, а пересохший язык стал шершавым, как дерево.

Наступал вечер. Закат алел, и длинные полосы от него, словно растянутые дуновением мистралья, достигали востока. От резкого, холодного ветра моя одежда, пропитанная потом, отяжелела и покрылась ледяной коркой.

Я не мог отвести глаз от таинственного лица, преобразавшегося в сумеречном сиянии неба. Свет падал на его лоб, зажигал глаза, и удлиненные, страшные тени от его рогов лежали на камышах. Не в состоянии произнести ни слова, я взял себя в руки, натянул поводья Лунной, еще раз наспех осенил себя широким крестным знаменем, чтобы рассеять злую силу, круто повернулся и, не оборачиваясь, пришпорив лошадь, примчался галопом к дверям моей хижины. Как я соскочил на

землю с седла, как, с жадностью напившись, бросился на свою кушетку, я до сих пор не помню. Но только знаю, что всю ночь я бредил, стонал и дрожал так, словно стал жертвой внезапного приступа лихорадки.

По правде говоря, несколько дней я чувствовал себя растерянным и разбитым, словно перенес какую-то болезнь. Я вставал по утрам с тяжелой головой, ноги едва держали меня, и отвращение наполняло мое сердце. Я бродил возле хижины, испуганный осаждавшими меня ночными видениями, неспособный к малейшим усилиям. У меня не было никакого аппетита, но рот и горло горели, вынуждая то и дело выпивать залпом целый кувшин воды.

Я было дошел до того, что подумал, не вызвать ли старшего брата Лувиса по прозвищу Добрая Сделка, пастуха из Кламаду, с той и стороны Малой Роны, чтоб он поработал за меня. Но вера в то, что с манадой ничего плохого не случится, а еще более — страстное желание сохранить от других эту неприятную тайну, признаюсь, помешали мне выполнить задуманное. Я пообещал себе прибегнуть к этому лишь в самом крайнем случае. Вне всякого сомнения, страх перед подобной необходимостью значительно ускорил мое исцеление.

Довольно долго я был поистине точно одержимый — меня терзали неразрешимые сомнения. Не раз я готов был бежать, если б не молитвы, которыми, сознаюсь, пренебрегал в моей одинокой жизни среди этих озер. Закрыв глаза и осенив себя крестным знаменем, я начинал молиться. Но посреди молитвы я внезапно останавливался, мысленно увидев ужасающее рогатое существо с бронзово-смуглым лбом и беззубой улыбкой.

Невозможно даже рассказать, какой ужас охватывал меня при воспоминании об этой встрече в камышах. И тем не менее поистине мучительно было одолевавшее меня любопытство; желание разузнать как следует все притягивало меня к этому страшному существу, полузверю-полудемону, от которого я бежал, не чувствуя в своей душе достаточно твердости. Итак, днем и ночью меня неотступно преследовали одни и те же видения. Я был ими одержим. Да, одержим — содрогаясь пишу я это опасное слово. Разве же отгонял я молитвой кощунственные мысли, обуревавшие мой ум?

И еще одно соображение преследовало меня и усиливало мое беспокойство. Как могло быть, что в первые дни, изучая следы, я не заметил, что они были проложены двуногим существом, шагавшим по-человечьи,— там же не было четырех отпечатков, которые обычно оставляют копыта кабана или любого другого зверя?!

Я возражал самому себе, что, во-первых, почти невозможно изучить следы, перепутанные с другими, прерывающиеся, и, во-вторых, следует помнить, что иной раз, когда зверь идет иноходью, отпечатки задних ног покрывают отпечатки передних. Если б разум мой тогда не был занят случаем столь необычным и непредвиденным, я бы без труда дал тому наиболее естественное объяснение. Но из-за волнения, в котором я находился, это соображение казалось мне несостоятельным и я склонен был все происшедшее приписать магии и колдовству.

Я стал редко удаляться от хижины, забросил мое стадо, печалюсь лишь о том, что мираж рассеялся без возврата. И все же опасался новой встречи — это последнее ощущение было, бесспорно, сильнее всего; мне казалось, что если бы Чудище сейчас возникло; я бы не вынес его вида и упал бы в обморок. Чудище? Я был уверен, что имею дело не с настоящим зверем, но все же можно ли его принять за демона? Дважды я осенил его крестным знаменем, произнося священные слова, против которых злые духи, как известно, бессильны. И дважды — разве я сам не видел? — это рогатое Чудище с мохнатыми ногами, не смущаясь ни крестом, ни молитвой, которые предохраняют верующих от демонов и от адских мук, оставалось недвижимым и почти равнодушным — разве я не видел, как оно улыбалось? Что же делать? Могу ли я разгадать эту тайну, если непреодолимый страх останавливает меня?

Однако через несколько дней несмотря на все мучения природа взяла верх, голод дал себя знать и вместе с пробудившимися телесными потребностями вернулась и некоторая смелость.

Прошло немногим более двух недель после событий на озерце в Редоне, о которых я рассказал, и я почувствовал себя более уверенным, решил вернуться к работе и приняться за поиски одной из моих коров, которой уже некоторое время не видел и которая, по моим расчетам, должна была отелиться. Могу признаться, что мне потребовалось большое усилие воли в этот день, чтобы сесть в седло и всунуть ноги в стремяна. Тревога сковала мои ноги, все мое тело. Я уже говорил, какую силу воли я прилагал, чтобы победить свой страх.

И вот я неслышно, окольным путем, старательно избегая озерца Редон, направился к выгонам, где думал встретить стадо коров. Я двигался, не смея посмотреть вокруг, и если дорогой замечал на земле свежие следы, то отворачивался и ни за что не останавливался. Лишь тот, кто испытал, подобно мне, бессилие и страх, способен понять мое малодушие. Все это я пишу затем, чтобы рассказать правду. Я боялся.

К полудню я наконец обнаружил мою корову, укрывшуюся в зарослях мурвена. Ее сопровождал маленький черный теленок с блестящей шерстью, он уже начал сосать и, услышав приглушенный песчаной почвой топот моей лошади, повернул свою курчавую голову с залитой молоком мордочкой. Но мать, поглядев на меня своим диким глазом, принялась качать головой и скрести землю копытом. Это означало, что она считает мое присутствие неделикатным и, словно оберегая детеныша, приготовилась к защите. Тогда, как полагается, я удалился, довольный тем, что сделал дело и выполнил мой долг пастуха. Но я даже себе не решался признаться в том тайном удовлетворении, которое испытывал, не встретив на пути ничего, что хотя бы отдаленно могло напомнить о присутствии Чудища. Мысли об этом существе, его образ, неотступно преследовавший меня, с каждым днем становились невыносимее. Я пытался убедить себя, что был жертвой галлюцинаций и видение, однажды явившееся мне, быть может, не повторится. По правде говоря, мой разум был до чрезвычайности взволнован этим странным происшествием, в глубине души мне хотелось узнать, что могло проистечь из всего этого впоследствии, и раскрыть для себя тайну, с которой пока не осмеливался встретиться лицом к лицу. Мало-помалу я вернулся к повседневным занятиям: снова бродил по привычным местам, охотился, вечерами ставил силки для уток и кроликов, чтобы запастись дичью и обеспечить себя пропитанием. Я отправлялся верхом и каждое утро, как всегда, седлал Лунную, чтобы объехать всю округу, проверить мой скот и загнать его в загоны.

После той необычной встречи, которой, живи я еще тысячу лет, никогда не смог бы забыть, хотя и старался о ней не думать, я поймал возле манады одну молодую лошадку. Известно, как это делается. Для того чтобы иметь хорошую верховую лошадь, шнуром из конского волоса — седеном я захватил на ходу в скользющую петлю приглянувшегося мне жеребенка, который казался наиболее способным ходить под седлом. Но наши камаргские лошади дики, они с трудом поддаются приручению. Этот жеребенок оказался упрямым и пришел в такой дикий ужас, что принялся приседать и прыгать, и так что я весь изогнулся в седле, а потом упал плашмя, и жеребенок волоком потащил меня за собой по песку; я то приподнимался, то порой просто упирался ногами в землю, пока наконец жеребенок не рухнул, вытянув шею, стянутую петлей так, что чуть не задохнулся. Вот тогда-то я и подошел к нему — он едва дышал, — надел к нему на голову узду и распустил узел седена.

Известно, что обычно пастухи предусмотрительно берутся объезжать молодых лошадей вдвоем. Но я решил, объездить этого жеребенка без чьей-либо помощи. Дело в том, что мною овладело странное непреодолимое чувство. Я уже говорил о нем. Больше всего на свете я боялся, как бы другой человек не увидел Чудища, которое мне попало на пути. Вот почему я решил объезжать Кастора один. Этим именем я сразу назвал его из-за особой масти, и оно так за ним и осталось. С первого же вечера я привязал его за моей хижинкой, принес ему несколько вязанок сухого тростника, который в лучшее время года я скашиваю и откладываю на зиму для моих верховых лошадей. На следующий день я укоротил ему удила, из предосторожности завязал глаза и

стреножил его. Он фыркал, встряхивался, пытаясь освободиться от пут, но я водрузил ему на спину седло, чтобы приучить его к тяжести сбруи. Потом, развязав ему глаза и освободивши ноги, я начал водить его — он весь напрягся от страха, а я крепко держал его, заставляя шагать с собою рядом. Я старался не делать резких движений и без единого окрика, тихим, мягким голосом уговаривал его, тянул за собой, остерегаясь, однако, смотреть ему в глаза, чтобы не пугать.

Тренируя его таким образом в течение нескольких дней, я приручил его достаточно и подготовил к иного рода прогулкам. Теперь, оседлав, по обыкновению, Лунную, чтобы отправиться утром выгонять быков, я стал брать с собою Кастора; я мягко держал его за повод, заставляя следовать за собою то шагом, то рысью. Когда пастухи вдвоем начинают объезжать коня, то с ним так не церемонятся. Я же заставлял себя действовать с особым благоразумием по отношению к животному, которое считал, судя по его выходкам, глубоко недоверчивым и трудно укрощаемым, зная, что из-за малейшей грубости мне придется сдать позиции, которые я, видимо, уже завоевал. Я был один и потому не без основания думал, что в случае чего могу попасть в опасное положение.

Хотя я считал коня уже укрощенным, но не преминул измотать его, прежде чем сесть на него верхом. Я вел его справа, за седлом, рядом с Лунной, то заставляя скакать, то, осаживая аллюр, разворачивался зигзагами и прищелкивал языком, чтобы, заранее приучить его к команде.

В тот день я вернулся с выгонов около десяти часов. Пробыв три часа в седле, я тут же принялся за завтрак. Я наскоро поел, удовольствовавшись куском холодного кролика, накануне поджаренного на углях, и закончив несколькими орехами, а также сушеными фигами, горсть которых сунул в карман вместе с ломтем хлеба, как делал обычно, когда знал, что надо с утра как следует заправиться, и не мог угадать времени своего возвращения. Жажду я утолил одной лишь водой, которую хранил в глиняном кувшине, но, поднявшись из-за стола, снял с полки и откупорил бутылку ароматного, подаренного мне священником к Новому году ликера, который готовят монахи, аббатства, и как «посошок» на дорогу отхлебнул всего один глоток.

Я старательно записываю все эти подробности, хоть совершенно уверен, что впоследствии они покажутся скучными и монотонными. Но я считаю необходимым твердо установить что здесь не следует подозревать ни опьянения, ни лихорадочного бреда. Прежде всего, повторяю, я пишу не ради пустого развлечения тех, кто когда-нибудь прочтет это, а лишь для того, чтобы поведать об этих обстоятельствах другим, более способным, чем я, истолковать их. Но пуще всего, чтобы облегчить свою душу.

Итак, мы дожили до двенадцатого дня февраля месяца и подошли к сезону, когда вечером становится светлее. Погода после полосы мистралья стала спокойнее, и небо, от востока до запада, было чисто и прозрачно. Около полудня я отвязал Кастора, на котором я позаботился с утра оставить седло, потом тщательно подтянул подпругу, с большой осторожностью надел на него хорошую уздечку из конского волоса, продел в рот удила, с какими я обычно начинаю объездки. Мне изготовил их кузнец из Люнеля, и я их берегу, поскольку они одновременно и гибкие и упругие и потому не причиняют боли губам еще дикого коня, но сдерживают его, вздумай он противиться. Если кому из лошадиников случится прочесть эти строки, он легко поймет меня, Я спокойно шел до песчаной косы, образующей кромку островка, ведя Кастора на поводу, поскольку решил вскочить на коня там, где не растут деревья. Там еще раз проверил сбрую, подбадривая коня посвистыванием, но не глядя его, поскольку наши камаргские лошади не любят возбуждающей ласки, и, тщательно завязав ему правый глаз, самым мягким движением вдел ногу в стремя и взобрался в седло. Не было нужды вцепляться ему в гриву, потому что Кастор, после некоторого колебания, покрутившись на месте, пошел послушно тем не совсем уверенным шагом, каким идут молодые лошади, когда они впервые почувствовали на себе седока.

Этим аллюром я ехал примерно час. Кастор шел нерешительно, качая головой и пофыркивая от страха, беспокойно кося глазом, и все же казалось — он примирился со своим положением. Я продвигался вдоль островков, придерживаясь открытых мест, оставляя справа лесную чащу, а слева — пространство, в это время года еще затопленное водой, как вдруг Кастор покосился на меня и, прежде чем я успел принять меры, с внезапным коварством, свойственным нашим

камаргским лошадям, резко опустил морду между передними ногами, задергал лопатками и крупом, то рывком подаваясь вперед, то вертясь на месте, фыркая и заливаясь ржанием. Я был захвачен врасплох и, как ни силился, не мог поднять ему голову — она оттягивала мне руки и, казалось, весила больше центнера. Конь ожесточался все больше и больше, он то и дело подбрасывал меня в воздух, и я, измотанный, не в силах держаться в седле, упал на землю, тяжело ударился о ствол дерева и покатился по песку; но даже оглушенный я заметил (все это было словно в дурном сне), как Кастор, вырвавшись на свободу, с развевающимся на ветру хвостом раздув ноздри, галопом поскакал к манаде.

Так пролежал я несколько часов бездыханный и пришел в себя, только когда почувствовал, что мой пес Расклет тихонько лижет мне лицо, Солнце уже садилось, и подул свежий ветер. К счастью, я обнаружил лишь ссадину на лице, которая уже засыхала, да синяки по всему телу. Когда я поднялся, голова у меня была тяжелая и ноги не гнулись, и так как я не мог тотчас отомстить этой скотине, то осыпал ее жестокой бранью, Я проклинал весь ее род. Проклятия вырывались пламенем из моего рта, впрочем, в противоположность многим пастухам я не богохульствую даже в самом сильном гневе.

Я тотчас лее решил вернуться в свою хижину самым коротким путем, через островки. Я был уверен, что отыщу Кастора среди кобыл манады, и боялся только, что в результате этого приключения лишусь своей уздечки, а то и всей сбруи.

Ковыляя через заросли, я, по правде говоря, никак не мог избавиться от беспокойства: а вдруг это животное, которое уже проявило свой злобный нрав, выбросив меня из седла, окажется неуступчивым? И справлюсь ли я с Кастором, если он снова попытается меня сбросить? С другой стороны, необходимо было тотчас вернуть его и по мере возможности укротить. Ведь известно, как трудно объездить дикую лошадь, если не заставишь ее сразу подчиниться.

Так, поглощенный мыслями, продвигался я к своей хижине, от которой находился самое большее в полулье, когда моя собака Расклет, обнаружив что-то в чаще, заскулила, подбежала ко мне и так поспешно уткнулась мордой в мои колени, что чуть меня не свалила. Когда я нагнулся, чтобы выяснить причину ее испуга, передо мной была «она» или «он» — одним словом, Чудище, которое раскапывало землю под деревом.

Первым моим желанием было кинуться назад и удрать сломя голову. Чудище приподнялось, точно боялось человека, оробело перед ним, точно его спасение зависело только от проворства ног. Но узнав меня, это существо, как мне показалось, успокоилось, его щеки сморщились, рот раскрылся, и пронзительный скрипучий смех разнесся по лесу, словно стрекот огромной цикады.

— Ты, конечно, предпочтешь удалиться, странный человек, ты ищешь меня, но, услышав мой голос, бежишь, точно подхваченный шквалом. Скажи, куда ты девал свой трезубец и свою лошадь и почему ты волочишь ногу?

От неожиданности, признаюсь, у меня захватило дух. Эта внезапная встреча в тот момент, когда меня преследовали и волновали иные мысли и иные картины, потрясла меня. Пока существо говорило, Расклет, доселе укрывавшийся подле меня, начал понемногу подползать к Чудищу (для удобства лучше сохранить это имя в рассказе). И, приблизившись с тихим повизгиванием, так и остался лежать на земле, словно зачарованный, выгянув к Чудищу морду. Меня бил озноб, но я не мог удержаться и стал разглядывать Чудище. Оно больше не смеялось. Оно полулежало, приподнявшись на локте, и я с отвращением обнаружил, что его козлиные ляжки покрыты шерстью, а у раздвоенных копыт, крытых тусклой роговицей, приподнятые, выпачканные в земле концы.

— Ты все смотришь на меня, продолжало оно,— а я тебя расспрашиваю, забывая, что ты всего лишь скудоумный человек. Я задаю тебе вопросы, а ты не знаешь даже, почему ты живешь в этой дикой долине, которая скрывает от тебя даль — бескрайние просторы моря и синие туманы Севенны. Что знаешь ты?.. Ничего! Что делаешь? Увы! Очень мало, но дела твои благороднее и

выше, чем ты можешь предположить. Ты, сам того не ведая, увековечиваешь среди человеческих обрядов самые почетные и инстинктивно повторяешь действия, величие которых не в силах оценить. Но, вероятно, видя мою старость и ничтожество, ты вовсе себе не представляешь, какой может быть молодость полубога.

— Кошунство! — воскликнул я, вскочив и снова весь леденея от ужаса.— Кошунство, святотатство! Нет полубогов! Есть лишь единый бог, и он вечен, он создал небо и землю во имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Ты прав! — невозмутимо отвечало Чудище.— Ты прав. Есть лишь единый бог, и он вечен... Когда-то — это было много веков назад — в поисках воздуха, пустыни и безграничного света мне довелось в Ливии встретить старца; казалось, ему было лет сто, и он был так же нелюдим, как и я. Он жил в одиночестве, подвергая себя тяжким лишениям и жертвам, и он пророчествовал, предвещая то, что называл Благой Вестью; он научил меня словам, которые вспыхивали пламенем в темном водовороте моей души, Ты, конечно, прав. Есть лишь единый вечный бог. Но были и другие боги, рожденные этим миром, теперь для него они умерли. Есть полубоги. Возможно, ты не способен этого постичь. Они живут жизнью властелинов, утоляя жажду струями эфира, хмельные от плоти; они — хозяева цветущей вселенной; участвуя в танце времен года и звезд, они поют голосами света и моря. О, если б ты видел меня тогда, я был могуч и весел, я гордился своей молодой силой, я прыгал в полуденный час на полянках, пугая своим присутствием лесных зверей; как забавлялся я, обгоняя их, а то, растянувшись на ковре из вереска в сладостные ночные часы, полный лукавства и желания, подстерегал существа столь прекрасные, что, вызывая их в памяти теперь из этого далека, я едва ли осмелюсь признать их телесными. Посмотри на меня. Рога на моей голове и мои ноги как у животного — разве это не доказательство? Можешь ты принять меня за человека? Есть лишь один вечный бог. Но полубоги рождаются, живут и старятся, и, прожив жизнь, которая не подвластна рассудку, они умирают, да, умирают, они снова превращаются в материю, они возвращаются в бездну пространства и времени — я, к примеру, не знаю, куда их возвращает та воля, которая однажды заставила их выйти из бездны.

Я все время внимательно слушал, напрягая ум, чтобы точно запечатлеть в памяти слова, которые я не совсем понимал, а Чудище надолго замолкало и, не глядя на меня, казалось, размышляло.

— Полубоги живут. Вернее, они, без сомнения, жили. Потому что прошло уже много времени с тех пор, как я путешествую по необъятной земле, и я старею, а перед моим взором великолепие мира мало-помалу тонет в туманной дымке, и теперь я не встречаю себе подобных. Быть может, они, как и я, прячутся, напуганные варварством и хитростью людей. Подумай о том, что испытал при виде меня ты сам!

Впрочем, наше появление никогда не обходилось без потрясений. Помнится, в былые времена, играя в безлюдной местности, я любил, притаившись в чаще, внезапно выскочить с криком и радовался, видя, как в растерянном бегстве исчезали стада и пастухи, скрываясь вдаль на равнине. Но люди, боясь, все же почитали нас. Сколько солнц прошло с тех пор, как я перестал видеть скачущих в сверкании летнего зноя детей полубогов, более проворных, чем козы!

В последний раз,— как это было давно! — блуждая в поисках дичи, я увидел ночью скользющую по опушке белую женскую фигуру. Мне захотелось погладить губы женщины. Я прыгнул, схватил ее в объятия и вывел из темноты на яркий свет луны. Она посмотрела на меня и, не пытаясь высвободиться, печально улыбнулась. Увы! Ее некогда нежные щеки были морщинисты, рот беззуб, а по ее зрачкам я сразу увидел, что источник любви в ней иссяк навсегда.. Я отпустил ее, не сказав ни слова, и это была — да, это была последняя, которую я встретил.

Я не вымолвил ни слова, озадаченный всем услышанным. Я все смотрел на этот странный рот, теперь молчавший, потом мой взгляд перескочил на собаку, Расклета,— она раболепно вытянулась перед Чудищем и время от времени тихо повизгивала. И в тот же миг глаза мои остановились на отверстии в две пяди шириной — оно было вырыто в земле, и по краям его я заметил несколько свежесвыдержанных корней.

— Да, полубоги не только рождаются и живут, но, дабы не умереть, они должны питаться. Как же мне быть? Могу ли я охотиться возле деревень и садов, преследуемый, словно хищник? И потом, не говорил ли я тебе? Кроме насыщения плоти мне необходимы чистый воздух и небесная лазурь. На этой пустынной земле я, по мере сил моих, поддерживаю свое дряхлое тело. Вот на этот раз ты невольно застал меня, когда я как раз выкапывал корешки, показавшиеся мне съедобными, а то ведь здесь просто уже нечего положить на зуб. Скоро поднимутся горькие молодые побеги спаржи вокруг леса, и потом можно будет есть яйца красных куропаток, водяных птиц и фламинго, а там отыщу гнезда цапель и уток. Слишком не разживешься... Но что поделаешь? Земля теперь не чувствует себя, как некогда, созданной для нас.

Теперь оно говорило глухим, словно сдавленным голосом. И на его замкнувшемся лице не было следов горечи. Впервые я заметил его плечи, прокаленные солнцем, темные и такие худые, такие худые, что при малейшем движении видно было, как под кожей ходят кости каждого сустава. Я смотрел на это осунувшееся лицо, на это старое тело полубожества (как оно себя называло), голодного, питавшегося сухими корнями, и непомерная жалость охватила меня. Я сразу забыл свой первый страх перед уродством этого звериного лица, перед раздвоенными копытами; сунув руку в карман куртки, я достал хлеб, орехи и сушеные фиги, которыми предусмотрительно запасся с утра. Тусклые зрачки полубога оживились, когда он увидел эти жалкие дары.

— Возьми! — сказал я, протягивая ему все это.

Чудище нерешительно шагнуло вперед, раскрыв ладони, и я увидел, что они были длинные и жилистые; на концах пальцев мелькнули острые когти. Я высыпал быстро все, что у меня было в руках.

— Ты голоден?

Но я не услышал ответа. Обе ладони с хлебом и фруктами Чудище поднесло к широкой худой груди. И прижало их жадно, точно то была драгоценная добыча. Когда я, уходя, обернулся, чтобы позвать собаку, то заметил на старом лице, обращенном ко мне, невероятную смесь умиротворенности и экстаза; а из-под моргавших век вдруг выкатились на седую бороду две крупные слезы.

Последующие дни были для меня полны тревоги и неуверенности. Я размышлял обо всем увиденном и, не слишком надеясь на крестные знамения и заклинания, не мог окончательно отделаться от страха перед каким-то дьявольским наваждением. И вместе с тем, вспоминая иные слова этого существа, доброту его взгляда и благородство того, что, очевидно, можно было назвать его душой, вспоминая порыв благодарности за мое бедное приношение, я предоставил страху первых мгновений уступить место снисхождению и почувствовал, как рождается во мне нечто вроде дружеских чувств. Вот от каких размышлений теперь я не мог избавиться ни днем, ни ночью. Особенно ночью, когда, в лихорадке, ворочаясь с боку на бок, я переходил от одного ощущения к другому — то меня охватывало отвращение и страх, то они уступали место, признаюсь, непонятной мне слабости.

Эта борьба с самим собой отравляла мне отдых, населяла мои сны кошмарами. Теперь, уходя к своему стаду и возвращаясь домой, я без конца думал обо всем происшедшем, эти мысли преследовали меня и в моей хижине, пока я убирал постель, готовил пищу, и на равнине, когда я собирал свое стадо на ночь или выгонял ранним утром на просторы за Рьежем.

Надо знать Камаргу и быть пастухом, чтобы понять, как тиранит навязчивая мысль душу, когда человек, которому не с кем перемолвиться словом, едет верхом по бескрайней долине наедине со своими думами — в эти часы он подобен барке, плывущей в морском одиночестве.

Вот почему я старался взвалить на себя как молено больше дел и с головой ушел в работу, которая отвлекала меня от тревог. Кастора я нашел в табуне — он совсем успокоился, седло, по счастливой случайности, оказалось неповрежденным, и, применив некоторую хитрость, я смог ухватить его за повод, тащившийся по земле между его передними ногами, не накидывая на него петли. Я отвел его и привязал к своей хижине, твердо решив снова оседлать при первой возможности,— иначе он совсем одичает.

Но прежде мне надо было поехать в Виль-де-ля-Мер, откуда отец эконома каждые две недели посылал мне провизию — ее привозил один из возчиков аббатства. Я поехал, как обычно, на Лунной, держа справа старого спокойного коня — Белого Павлина, на которого, как на настоящего осла из стада, я навьючивал «энсарри» — все знают эти огромные корзины, предназначенные для перевозки разной провизии, что привязывают по бокам вьючного седла.

Я вернулся к вечеру, не захав ни к кому, кроме нашего почтенного священника, который нашел, что у меня больной вид и лихорадочные глаза. Я отговорился болотной лихорадкой. С мягкостью он упрекнул меня в пренебрежении к моему долгу христианина, но я заверил его, что недавно выполнил свой долг в аббатстве. Трудно передать, как ужасаюсь я теперь этой лжи. К рыбаку в Тунье я заехал только поздороваться — он был моим кумом, и я всегда поддерживал с ним дружеские отношения. Он тоже нашел, что у меня усталый вид, и уговаривал попить василькового отвара; в обмен на несколько уток, которых я привез, я получил от него две отличные рыбы сен-пьер. Прежде чем отправиться, я зашел к работавшему в этот день цирюльнику, так как настала пора постричь мою отросшую и спутанную бороду, и еще заглянул туда, где сочиняют всякие рассказы и кривотолки, что ползут потом по всей Камарге. Это обычное место встреч пастухов и браконьеров. Я хотел узнать, не прошел ли слух про странного гостя, посетившего берега Ваккареса, но подозрения мои не подтвердились.

Солнце едва село, когда я уже был дома. Войдя в хижину, я тотчас же принялся раскладывать всю привезенную мной снедь. И тут я с истинным удовольствием обнаружил небольшой мешочек сушеных фиг и другой — с орехами, сладким миндалем, а также две дюжины горных яблок, уже сморщившихся за зиму, но еще крепких и дозревших до сладости под прочной красной кожицей. Я приготовил себе на ужин рыбу, которую подарил мне кум, и часть ее оставил на завтрак.

На следующий день, прежде чем сесть на Лунную, я взял один из мешочков, которые мы называем «сакетонами», наполнил его сухими фруктами, положил половину одного из моих двухфунтовых хлебов и прибавил к этому кусок рыбы и два отличных яблока.

Направляясь на выгоны, я сделал круг, чтобы проехать мимо мурвена, под которым я встретил Чудище, и, стянув сакетон камышовой перевязью, повесил его на одну из ветвей повыше, чтобы он не привлек внимания лис, ночной птицы и всякой иной нечисти. Возвращаясь вечером, я сразу увидел, что его никто не трогал, и решил проверить, довисит ли он до утра.

Я поднялся до рассвета. Для того чтобы одеться, нужно было зажечь «калеу». Погода была тихая и холодная, и небо было еще темным, когда я приоткрыл дверь. Я торопился. Мой очаг вскоре запылал, а когда первые лучи зари зарумянили землю и воды, я уже съел мою горячую похлебку. Я был бодр и полон решимости оседлать Кастора, но принял все меры, чтобы на этот раз сладить с ним. Я тщательно оседлал его и заботливо поводил, чтобы дать ему размяться, а потом, держа его на поводу, сам сидя верхом на Лунной, пустил его рысью. Он бежал чуть позади меня, опустив голову, с потухшим взглядом, как животное, смилившееся со своей участью, и послушно тащил тяжесть седла — его не пугало ни поскрипывание кожи, ни позвякивание железа.

В этот день я предоставил быкам полную свободу и занялся только объездкой, исход которой, признаюсь, меня беспокоил. Я вел Кастора через лес, заставляя его пробираться сквозь чащу следом за Лунной, чтобы он не пугался ветвей, что хлещут по седлу; но мне очень хотелось узнать, заметило ли Чудище еду, которую я повесил для него на высокой ветке мурвена. Добравшись до места и соскочив с седла, я обнаружил, что сакетон опустошили, а потом снова завязали, как будто человеческой рукой, и тут же я увидел у подножья дерева цепочку следов, которых накануне не

было,— вечером я тщательно разровнял руками поверхность земли. Я развязал сакетон и с удивлением увидел, что в нем что-то осталось. То был кусок рыбы. Подумав, я сообразил, что Чудище испытывает отвращение к убитому живому существу и дает мне это понять. Обстоятельства не замедлили подтвердить мое предположение.

Я быстро вернулся домой, чтобы позавтракать, и не было еще восьми, когда мы с Кастором вновь отправились в путь. Небо, как я говорил, было спокойное и чистое. И несмотря на тревогу, не перестававшую терзать меня, я ощутил ту легкость в теле, которая появляется с хорошей погодой, когда видишь, как из-под зимнего покрова пробивается новая жизнь.

Выехав на открытое место, я немного поволил Кастора, потом завязал ему глаза и сунул ногу в стремя, чтобы вскочить в седло. Лошадь ничуть не сопротивлялась и пошла медленно, не очень уверенным аллюром, и я дал так идти ей почти целое лье. Если бы не события предшествующих дней, я мог бы считать себя в полной безопасности, но я хорошо знал, на что способен Кастор, и, приготовившись к тому, что он может что-нибудь выкинуть, не разрешал себе ни малейшей оплошности. Но напрасно я опасался. Так я проехал около двух часов, довольный тем, что могу не принуждать еще недавно совсем дикое животное, которому переутомление может принести вред; и тем не менее я старался подорвать его силы, заставляя идти по песку или по мягкой земле, чтобы лошадь вдосталь натрудилась. Я находился уже неподалеку от своей хижины, а Кастор так и не проявил ни малейшей попытки взбунтоваться, и я не замечал за ним никаких дурных намерений. Вернувшись, я напоил его, бросил ему несколько охапок сухого тростника, после чего, сам проголодавшись, перекусил солеными оливками и куском свежего савойского сыра, который принес из Виль-де-ля-Мер.

Вечером я не преминул снова сесть верхом на Кастора. Я поездил на нем не более часа и сразу же расседлал, чтобы дать ему почувствовать мою власть. Я намеревался не прерывать даже на короткий срок объездку, пока не достигну существенных результатов.

Итак, я вновь принялся за дело на следующий день, с самого раннего утра. Было начало марта — время, когда ночью и утром еще холодно, но дневное солнце уже становится жарким. Близкая весна сквозит в тысячах признаков, которыми она обычно дает о себе знать. Легкий зеленый налет появился на тонких ветках тамариска, камыши под болотной водой пускали новые побеги, с утра перекликались птицы на побережье. Вот уже прошло больше месяца с пасхального воскресенья — одиннадцатого числа месяца апреля, когда я начал писать эти страницы. Теперь весенняя радость светилась везде. Но в начале марта зима все еще свирепствовала.

Итак, я поехал, не пренебрегая мерами привычной осторожности и не доверяясь внешней покорности моего коня и, как накануне, решив начать свою проулку с островков. Конь теперь шел уже заметно увереннее, и я видел, что он начал привыкать к удилам. Тогда я решил покинуть опушку и проехать в чащу, осторожно придерживаясь лесных просек, по которым накануне Кастор шел следом за Лунной. Только я собрался свернуть в сторону, как внезапно конь подо мной весь напрягся, резко выгнул спину, опустил голову, как мы говорим, заартачился невероятно, заржав от ярости. Я вцепился в заднюю луку седла, стараясь усидеть: слишком хорошо я знал, что может произойти, если я еще раз позволю себя сбросить; я чувствовал такие частые и резкие толчки, будто попал в морскую качку, и тут мне стало ясно, что близок момент, когда я волей-неволей окажусь на земле.

И тут произошло нечто неожиданное. Как баран после прыжка, Кастор вдруг уперся всеми четырьмя ногами, словно копыта его сразу вросли в землю. Он перестал ржать и храпеть, он замер — словно окаменел. И в это мгновение я заметил Чудище. Оно стояло, прислонившись спиной к стволу мурвена. В глазах его, устремленных на моего коня, казалось, полыхало пламя, а губы слегка подрагивали, испуская нечто вроде свиста. Затем, раскачиваясь и словно пританцовывая под свой свист, оно начало маленькими шажками продвигаться вперед, не переставая глядеть Кастору прямо в глаза и постепенно ускоряя ритм движения и усиливая свист. Когда Чудище приблизилось к голове моего коня и находилось теперь на расстоянии двух пядей, не более, я почувствовал, как по Кастору, все еще неподвижному, пробежала еле заметная глубокая дрожь —

так вода начинает закипать на жарком огне.

Но Чудище, приблизившись, остановилось, прекратило свой неприятный посвист и, подняв руку, припечатало раскрытой ладонью лоб Кастора; конь, обычно пугавшийся малейшего жеста, замер. Пока рука Чудища находилась меж его ушами, он дрожал, но не двигался с места, и слышно было, как он через силу скорбно вздохнул — точно связанное животное, которое клеймят раскаленным железом. Он будто ослабел, передние ноги его подогнулись, потом подогнулись задние — он весь дрожал, дышал натужно и наконец рухнул на землю. Но в тот момент, когда он коснулся земли, Чудище отступило, и освобожденный Кастор одним рывком встал на ноги. Он был понурый, вялый, словно одуревший, и кожа его, покрывшаяся пеной, подрагивала.

Увидев это, странное существо разразилось скрипучим смехом, весь лес наполнился им; как я уже говорил, это было точно стрекот чудовищной цикады.

— Теперь ты можешь ездить на нем, он будет смирный. Можешь садиться на него, не боясь, что придется барахтаться в тине, как болотному угрю, или чайкой взлететь в воздух. Полубоги, правда, приводят в ужас священников, но зато они умеют укрощать диких животных. Ты это видел. Или ты все еще принимаешь меня за скотину?.. Но нет,— продолжало Чудище, и лицо его обрело спокойствие, разгладилась искаженная, отталкивающая линия рта,— нет, нет, я знаю, что ты добрый человек. Разве ты не сумел победить священного ужаса и отвращения, которые я невольно тебе, наверно, внушаю? Ведь ради того, чтоб я мог утолить голод, ты, не раздумывая, отдал мне свою еду, хоть я и не просил тебя об этом...

Я молча смотрел на него и слушал. Кастор по-прежнему находился в состоянии одурения, я же был взволнован и встревожен тем, что эта явно сверхъестественная сила могла единым махом сразить столь крепкое животное.

— Да ты не бойся,— сказало мне это существо, которого я даже про себя не решался больше называть Чудищем.— Я не из тех демонов, нечистых духов, которых на моих глазах заклинал старец — отшельник в Ливии. Может быть, ты знаешь, кто я, а может быть, никогда не узнаешь. Я исповедовал вечного бога. Я пел вместе со всеми голосами мира. Танцуя, я следовал танцу созвездий. И вот теперь я чувствую, что моя древняя плоть высыхает под кожей, подобно древесине старого дерева, под корой которого иссякли соки: они не питают его больше. Времена меняются, и, без сомнения, царствованию моему пришел конец. Но свою силу я сохраню до конца и буду властвовать над животными равнин и над лесными зверьми. Укротить их и подчинить себе я сумею всегда. Итак, поезжай и делай со своим конем все, что тебе угодно. Я укротил его для тебя навсегда, не забывай, что эта рука коснулась его.

Я тут же пришпорил Кастора. Он развернулся и пошел по моему приказу. Удаляясь, я оглянулся на странное существо. Оно смотрело мне вслед. Меня поразило величие его облика. Я на минуту замешкался. Теперь уже мне трудно будет не думать об улыбке радости, умиротворения и гордости, которая озаряла тогда его старое лицо.

Вот что я видел. Вот что я записал здесь не без некоторой тревоги. Отнесется ли тот, кто когда-либо в будущем познакомится с этим рассказом,— отнесется ли он к нему с полной верой? Если же он сочтет меня жертвой умственного расстройства, то безумие это, явившись действительной причиной всего того, о чем я рассказываю, не могло ведь передаться и живущим подле меня животным! Конечно, большое воображение могло породить во мне какое-нибудь из видений, о которых я рассказал. В конце концов в лихорадочном бреде я мог представить себе иной раз, что, сидя верхом на Касторе, встретил Чудище и был свидетелем изложенных выше сверхъестественных событий. Если говорить о Касторе, то надо заметить, что с той поры ежедневно я седлаю его и ездю на нем, заставляю его разворачиваться и крутиться и управляю им как мне заблагорассудится. И так день за днем, и это уже не воображение. Никогда больше эта

лошадь не противилась моей воле. И самое удивительное, чего я прежде никогда не замечал: если лошадь пасется, как обычно, в манаде и надо ее поймать, то нет никакой необходимости, как случалось раньше, зазывать ее при помощи мешка с овсом или ловить, неожиданно накидывая скользящую петлю. Стоит ей меня заметить, как она останавливается, повернув ко мне голову, и мирно дожидается, пока я сам не накину на нее уздечку. Я уверен, что такое поведение камаргского коня, до сих пор совсем дикого, восхитит любого, кто знает природную пугливость и подозрительность этой породы. Отныне он позволяет седлать и взнуздывать себя спокойнее, чем другие верховые лошади. И я сажусь на него сразу и беспрепятственно, ничем не рискуя, так же, как на Белого Павлина, приди мне в голову оседлать его, сняв с него вьючные мешки.

Вот что я видел, что испытал и что знаю. И вот что все же не дает мне покоя, преследует меня. Повторяю еще раз: я в здравом рассудке, но если эта попытка будет продолжаться, я не знаю, чем все это может кончиться.

Без сомнения, уже само существование Чудища и то, что оно здесь оказалось, можно рассматривать как настоящее волшебство. И однако, признаюсь, я уже начал было относиться иначе к увиденному, почувствовал, как мало-помалу затихают во мне сомнения, причиной которых являлось Чудище. Но с тех пор как я увидел собственными глазами его очевидную силу, с того момента, как я присутствовал при чудесном превращении — не знаю как, не богохульствуя, иначе и назвать случившееся,— мое беспокойство возобновилось.

Уводя с островка усмиренного Кастора, я чувствовал только одно: бесконечную признательность. Я ни о чем другом не мог думать — лишь о минувшей опасности и об оказанной мне услуге. Теперь я обдумал все снова. И хотя Чудище мне многое рассказало, знаю ли я хоть отчасти, что это за существо? Знаю ли я? Хоть и силюсь каждый раз запечатлеть в моем мозгу, чтобы записать,— знаю ли я до конца, в чем тайный смысл большинства его слов? Уверен ли я, что они не содержат в себе каких-то опасных чар? Не должен ли я вспоминать о чувстве гадливости, какое ощущал вначале, и таким образом избавиться от этой привязанности, от этой необъяснимой и опрометчивой нежности, постепенно наполнявшей мое сердце, словно колдовство? Не знаю. Да и откуда же мне знать? И наконец, хотя последнее время я снова стал прилежно читать молитвы и не перестаю обращаться к моим святым покровителям, не наведет ли это порчу на мою душу? Ведь вот уже прошла и Пасха, а я все еще не осмелился приблизиться к исповедальне. Рассказать обо всем? Нет, как и в первый день, это невозможно. Я не осмелюсь причаститься, пока не признаюсь духовнику, чем теперь одержим.

С тех пор как Чудище усмирило Кастора, я нигде его больше не встречаю, хотя я без конца объезжал Ръж, выгоны и озерцо Редон. Вот уже много дней. Быть может, оно ушло так же неожиданно, как появилось,— ушло искать другого пристанища в мире, даровав моей душе право вновь обрести покой и одиночество. Я пишу эти строки с чувством печали и сожаления о том, что только я один во всем мире могу это понять.

Уже давно я ничего не замечал. Не видел свежих следов. Для того чтобы окончательно рассеять сомнения, я повесил на высокой ветке мурвена мешочек с орехами и сухими фигами. На этот раз никто не развязал шнурка. Чудище ушло — так я думаю, но одержимость не покидает меня. Я жажду встретить его, сожалею, что не встречаю, и боюсь встречи, больше всего боюсь.

С того ужасного дня, когда оно впервые явилось мне среди тростников, душа моя сохраняет образ, который будет преследовать меня до моего последнего часа. Это так. Теперь голова моя подобна пылающему пляжу, над которым августовское солнце колеблет громадные миражи.

Что думать? С тех пор как луч его взгляда опалил мои глаза, действительность предстает мне каким-то пляшущим, зыбким отблеском.

Разумеется, я не хочу говорить ни о чем вслух. Достаточно того, что я пишу, чтобы освободиться, насколько это возможно, от тяжелого гнета. Потому-то я и стараюсь записать как можно точнее все, что наблюдал, и все события, участником которых я был до сих пор.

Чудище ушло — теперь я убежден в этом. Я искал его до вчерашнего дня, но больше так и не видел. Если в дальнейшем ничего существенного не произойдет, то здесь закончится мой рассказ — закончится навсегда. Пусть меня не упрекают. Каким бы неясным и сбивчивым ни показался мой рассказ, он все же доставил мне, несмотря на все мои беспокойства, невыразимое облегчение.

Я не обольщаюсь надеждой, что смогу таким образом разогнать все мои тревоги.

Но на меня снисходит успокоение, когда я думаю, что чудесные события, взволновавшие бедного пастуха в его одиночестве, не канут, как множество других, погребенных пучиной времени, и придет день, когда кто-то более ученый и мудрый, без страха исследуя прошлое, сумеет из своего далека истолковать и понять то, что, быть может, только мое невежество скрывает от меня сегодня.

Глава вторая

Все, что я видел до сих пор,— пустяк. Я хочу сказать, что события, которые произошли, о которых я рассказал в предшествующей части как о чудесах после моей первой встречи с Чудищем, можно считать заурядными, обычными по сравнению с последующими.

Итак, я беру вновь мою тетрадь, чтобы изложить все, что должно быть изложено, и отметить то, что кажется мне необходимым отметить.

В течение трех месяцев я не записывал ничего. Я считал, что действительно мой рассказ о Чудище окончен. Пять недель прошло в полном спокойствии. Это отнюдь не означает, что я смог отделаться от воспоминаний о необычном событии, помимо моей воли все еще продолжавшем меня тревожить. Но несмотря на мои постоянные и неутомимые поиски, я не находил на пастбищах, кроме бычьих следов, ни одного нового следа. Время от времени я проверял сакетон с лакомствами — он так и висел, затянутый шнурком, все на той же ветке вот уже много дней. Я думал, что неведомое существо, названное мною Чудищем, покинуло наши края и отправилось туда, где мягкий климат и обилие фруктов обеспечат ему более легкое существование. Я старался как можно меньше думать о нем, однако тайна Чудища занимала мои мысли почти целиком. Наконец, чтобы совсем уж избавиться даже от воспоминаний, я решил было больше не подвешивать сакетон — угощение стало теперь бесполезным и лишь напоминало мне о моей навязчивой идее. Но однажды утром, совершая привычный объезд, я заметил, что сакетон открыт и шнурок не развязан, а порван, горшочек же с медом пуст и сух, словно терпеливо вылизан языком какого-то животного. Это обстоятельство меня крайне озадачило, поскольку вокруг дерева, как и во всем лесу, не оказалось ни одного следа.

Это открытие, само собой разумеется, изменило мои намерения. В тот же вечер я повесил мешочек на место, наполнив его самым лучшим из своих запасов — были там и сушеные сливы, и варенье из виноградного сула, что мне недавно прислали с одним из рыбаков мои племянницы из Арля. К сожалению, как раз возле мурвена поросль была так густа, что в ней плохо отпечатывались следы, но я не осмеливался обломать ее, боясь спугнуть существо, привлеченное лакомствами. Я, разумеется, думал о том, кто меня тогда напуг гал в камышах, но искал подтверждений. А мой опустошенный таким способом сакетон наводил на сомнения. По правде говоря, несмотря на страх, я испытывал большое желание вновь увидеть Чудище и вновь услышать этот странный голос, который волновал во мне кровь и пронизывал мою грудь жаром.

Словом, я разложил все, как умел. А потом несколько дней мне не удавалось навещать мурвену: надо было пасти быков на болотах Гран-Кувен — в это время года нельзя запускать работу.

Отныне мне было безразлично, седлать ли Кастора или Лунную. С того события, которое я описал, Кастор сохранял полную покорность. Теперь я не сомневался в том, что он укрощен навсегда. Я брал его с собой, выпускал в стадо, снова оттуда забирал — он не проявлял ни малейшего неповиновения. Наоборот: теперь он, завидев меня, останавливался и даже иногда шел мне

навстречу и спокойно позволял себя привязать. Бывало, мне частенько приходилось хитрить, чтоб совладать с лошадей, годами ходившей под седлом, а этот, хоть и недавно был пойман, оказался гораздо покорней и ласковей, чем Лунная.

Освободившись от дел, я вернулся в лес, чтоб узнать, как обстоят дела. На этот раз я снова нашел сакетон пустым, и в нем до-: чиста вычищенный горшочек. Как и раньше, несмотря на все мои старания, я не обнаружил вокруг ни единого следа, А между тем, надеясь все же увидеть их, я старательно расчистил и разровнял песок у подножия дерева — во всяком случае там, где не было растительности. Но, к несчастью, внушительных размеров бык недавно пришел и улегся здесь, он разворошил землю, отчетливо обозначив лежку отпечатком своего тела, оставил свои следы и свежий навоз. Я соскочил на землю, чтобы лучше разглядеть ее неровности, и тем не менее ничего мало-мальски интересного не увидел.

Понятно, любопытство мое разгоралось, и я тотчас же придумал план, исполнение которого, казалось, должно было рассеять все мои сомнения. В тот день, двадцать седьмого числа месяца мая, погода была ясная, но луна взошла поздно. Поужинав заранее похлебкой из кефали, наловленной мною на Львиной Косе, я отвязал Кастора, привязанного для такого случая к одной из коновязей моей хижины, и, снова наполнив сакетон орехами и вареньем, закинул его за плечо. Я сел на Кастора без седла и отправился в ту часть леса, где столько дней подстерегал таинственное существо. Говоря о покорности Кастора, я забыл подчеркнуть его исключительное послушание, подтверждением чему может служить то, что вот уже несколько дней я сажусь на него без седла, а ведь такого обычно молодые лошади не допускают.

Так же было и в тот вечер. Причину я открою позже.

И вот я двинулся вдоль островков, предусмотрительно пустив коня по кромке влажного песка, чтобы он ступал бесшумно. Я перекинул свой плащ через шею коня, в руке у меня был трезубец и за спиной сакетон. Арлезианский нож, которым срезают ветки можжевельного дерева, лежал у меня в кармане; этим же ножом свежую тушу павшей коровы и вспарывают живот живому волку — как это мне пришлось сделать три года тому назад, в конце января, в сосняке Эг-Морта. Конечно, Расклета я старательно запер в хижине, чтобы собака не выдала меня.

Я пересек газу Тонущего Быка — о том, какая она опасная, говорит само название, и тем не менее я пересекал ее почти ежедневно — и остановился в конце Длинного островка, неподалеку от того места, где я намеревался устроиться. Мягко соскочив с Кастора и спутав ему передние ноги, я снял с него петлю, которую мы обычно набрасываем животному на голову, когда ездим без седла и управляем без поводьев и удил. Я рассудил, что мой конь далеко не уйдет и будет щипать траву столько времени, сколько мне понадобится, да и вид свободной, невзнузданной лошади в этой глуши не выдаст присутствия человека и никого не испугает — даже дикое существо. Таким образом я мог побыть один, и в моей воле было спокойно оставаться на месте столько, сколько я сочту нужным. Про себя я уже решил проникнуть в эту, как мне казалось, новую тайну: я был вполне убежден, что имею дело совсем не с животным, но если это Чудище, то как же ему удавалось утаить от меня свои следы? Если же это человек — чего я совсем не думал, и, однако же, мне надо было окончательно убедиться в этом, — то какой бы неприятной ни оказалась встреча, я знал, что, вооруженный трезубцем и ножом, я всегда возьму верх. Вот почему, повесив сакетон на обычное место, я тут же тщательно завернулся в плащ, чтобы уберечься от пронизывающей на озерах ночной сырости, и как можно лучше укрылся в зарослях мастиковых деревьев, решив не вылезать из этой засады, пока цель не будет достигнута или же обстоятельства не заставят меня из нее выйти.

Как я уже говорил, ночь была холодная и ясная, а луна — почти полная — вскоре должна была появиться. Я довольно долго сидел совсем тихо, не замечая вокруг никакого движения и вслушиваясь в дальнюю переключку куликов да в гортанные крики фламинго, сливавшиеся с

кваканьем бесчисленных лягушек. Зыбкая тень большой птицы, охотящейся по низам, удаляясь, слегка задела мое убежище. По счастью, я предусмотрительно повернулся на север и ощутил на лице мягкое, едва уловимое и в то же время свежее дыхание ветра, не будь которого москиты набросились бы на меня и поневоле заставили бы зашевелиться. Мало-помалу все существа, которые не ожидали моего появления и спрятались, притаились при моем приближении, снова задвигались. Я вдруг услышал, как в соседних зарослях роет землю зверь, и мне показалось, довольно большой. Впрочем, все было как-то смутно. Немного спустя вышла луна. Я увидел, как сразу осветился лес и тени на земле стали резче. Было около девяти часов, и безграничный покой наполнял ночь. Я же совсем застыл, сдерживая дыхание и боясь пошевелиться, хотя руки и ноги у меня совсем онемели. Большой сыч-маслокрад (у нас их называют так потому, что они забираются зимой в церкви и пьют масло из лампад) в поисках добычи сел на ветку можжевельника. Я видел его как белым днем. Долгое время он не двигался, рассматривая своими круглыми глазами мой мешочек, и вдруг, словно чего-то испугавшись, с резким криком раскрыл крылья и ринулся в неподвижный молочный воздух — словно спасаясь вплавь. Немного спустя лиса, гибкая, посеребренная луной, проворно волнистым движением скользнула к подножию дерева и, усевшись там, начала принюхиваться по-собачьи. Потом вдруг, почуяв меня, бросилась в заросли.

Ноги мои одеревенели, но я прилагал все усилия, чтоб не двигаться. Прошло еще много времени, но ничего нового не происходило. Текли часы, и только шорохи окружавших меня существ нарушали тишину ночи. Веточки оливастры, можжевельника и мастиковых зарослей то и дело слегка потрескивали и шуршали. Но я не различал ничего, что могло встревожить мое ухо, приученное за долгое время к ночным шорохам весны. Время, казалось, текло бесконечно медленно.

И вдруг я начал что-то улавливать. Это были далекие глухие равномерные удары — казалось, идет громадное животное. Иногда шаги на мгновение словно бы прерывались, потом возобновлялись. Вот к ним стал примешиваться равномерный плеск тинистой воды. Я сразу различил своеобразное шуршание — что-то большое продиралось сквозь ветки. Сердце мое билось нетерпением и любопытством. Сжимая одной рукой трезубец, в другой руке я крепко держал нож, который из предосторожности положил в карман открытым. С каждым мгновением шум все усиливался, все приближался. Теперь он был совсем близко, и я уже услышал в ночном воздухе тяжелое дыхание; в этот момент ближние мастичные заросли задвигались, и сначала я увидел острия огромных рогов, потом черную шею. Это был один из моих быков, он остановился на краю поляны вблизи моей засады. В ярком свете луны я легко признал его курчавый лоб. Это был Браконьер, производитель, которому исполнилось пять лет к новому покосу. Он долго тянул воздух, повернувшись к северу, потом слегка повернулся мордой к западному ветру — лаграде, издал короткий рев и снова мерно зашагал, не выбирая пути, доверяясь своему животному инстинкту. Через мгновение я услышал, как он хлюпает по жиже.

В этом зрелище не было для меня ничего удивительного. Как обычно, я этим вечером в сумерки увел скотину с выгона, но сейчас решил, что бык-производитель в эту пору, когда животные брачуются, унюхал запах одинокой коровы, блуждающей по болотам через Бардуину или Кашарель; он не покинул бы стада, если б его не влекла самка. Но не успел я прийти к этому выводу, как услышал топот, доносившийся оттуда же, откуда появился Браконьер. Топот становился все громче и настойчивее, и вот уже другой бык пробивал себе дорогу в нескольких шагах от меня. Но поскольку из зарослей так и не показались его рога, узнать его было невозможно. И я решил, что и этот бык шел с той же целью, учуяв сквозь ночь горячий запах.

А потом, следом за двумя первыми, я услышал и увидел третье животное — на этот раз то была Львица, одна из моих молодых коров; и дальше я насчитал — одну за другой — еще штук девять, а за ними сразу целую группу, около дюжины, и вот уже вся моя макала быков переходила озерцо — они шли, тесно прижавшись друг к другу; тут я не выдержал и, стараясь остаться незамеченным, быстро вышел из укрытия. Я пересчитал: их было двести семьдесят четыре, насколько я мог судить — все мои. Но так как я стерег на Рьеже больше трехсот, то думаю, что мог ошибиться, несмотря на лунный свет, а может, остальные не ушли с выгона или бежали

другой дорогой.

Все те, за которыми я наблюдал, струдились на тропе среди болота — казалось, они следовали по проложенному пути. Они шли ровным свободным шагом, как утром, когда я вел их на водопой или гнал через болота, а они втягивали в себя воздух, напоенный ароматом свежей зелени.

Какое-то время я внимательно прислушивался, чтобы удостовериться, что они все прошли, — а вдруг еще какие-нибудь появятся: не хотелось их пугать, сбивать с пути. Но не услышав больше ничего, я побежал к месту, где оставил Кастора, который несмотря на путы с ржанием двигался мне навстречу, готовый догонять манаду. Освободив его от пут, я поспешил накинуть ему на морду петлю и, вскочив на него, поехал следом за удалявшейся вереницей быков, которые у меня на виду пересекали озерцо. Я придерживал Кастора, чтобы дать им волю, не желая отвлекать их своим присутствием, но, судя по тому, что они шли своим путем, хорошим аллюром, против ветра и шумно хлюпали по воде и тине, я убедился, что они ничего не подозревали.

Вел их Браконьер. Известно, что дикие быки сообща выбирают себе вожака или же признают за такового самого смелого и сильного в бою. Зная, что Браконьер с весны стал королем манады, я ничуть не удивился, увидев его во главе стада. Выбравшись на твердую почву, Браконьер уверенной рысцей побежал к солончакам и в сопровождении остальных тем же аллюром повернул направо к Большим болотам, где тростники густы, а вода в это время года довольно глубока. Я знал, что если следовать за ним верхом, то придется лезть в воду по пояс. Но меня это мало трогало, я не боялся лихорадки, я был в раже от того, что могу теперь узнать, куда приведет меня это новое приключение.

Видеть почти всю манаду, привыкшую за долгое время к просторам пустынного Рьежа, вот так, глухой ночью, по своей воле идущую на север, мне пока еще не случалось, как, наверно, ни одному пастуху с тех пор, как существуют манады. Но единственной моей заботой было все узнать. И любой на моем месте сделал бы то же самое. Я с трудом миновал Большие болота — из-за опасного, вязкого местами дна я вымок сильнее, чем мог предположить. Временами мы проваливались в тинистые ямы, откуда Кастор с трудом выскакивал сильными рывками крупы — он шел спотыкаясь и наполовину вплавь. Десятки раз за одну ночь я был обязан моему коню жизнью. Но то, что где-то впереди были быки, за которыми, как он считал, надо было следовать, подогревало коня — он был полон отваги, способен справиться с любыми трудностями. Я не хотел задерживаться, отыскивая на озерах удобные и знакомые переходы, но старался все время следовать за моими быками.

Когда же я достиг берега и Кастор вылез из воды, последний бык исчез в гуще зарослей тамариска, опоясывающих эти болотистые места. Я остановился, чтобы дать отдышаться коню и спокойно разглядеть, куда направилось стадо.

Я соскочил прямо в заросли и, раздвигая ветки, осторожно пошел вперед, горя желанием все узнать, когда необычный глухой шум, похожий на журчание переливающейся через край воды, заставил меня насторожиться. Одновременно мне послышалось что-то вроде свиста.

Не без основания думая, что шум разбрызгиваемой болотной грязи все еще стоит после поездки у меня в ушах и я ничего не слышу, я продолжал, стора от любопытства, бесстрашно продвигаться вперед, осторожно ведя за собой Кастора и стараясь держаться в густой тени.

Но тело мое окаменело и застыло, как будто под моими ногами уже разверзлась земля и я услышал с четырех сторон вселенной трубный глас, возвещающий Страшный суд.

Я, Жак Рубо Конопатый, увидел все в ту ночь. Прежде всего, раздвинув кусты тамариска, которые закрывали от меня солончаки, я увидел бесконечные, неподвижные озера, сверкавшие, уходя вдаль, под лунным светом. И тут же вслед за этим я, вздрогнув, увидел Чудище; я узнал его. Оно стояло, обнаженное, на покрытом низкой травой пригорке — мы называем их «отюрами», — и вокруг него огромная живая черная масса кружилась в непрерывном хороводе. То тут, то там в

лунном свете я видел блестящие спины, горящие глаза и гладкие острия рогов. Должно быть, все быки Камарги собрались сюда. И поминутно со всех сторон горизонта я видел, как бежали новые вереницы быков. Сначала это была движущаяся тень — она увеличивалась и скользила под луной, потом она превращалась в мчащуюся во весь опор манаду: опустив морды и качая головами, новые быки вливались в общее кружение. Я видел, что мои двести семьдесят быков смешались и исчезли — так воды горных ручьев вливаются в Рону и смешиваются с ней. А круг все разрастался и сбивался возле Чудища в кипящую темную пену, похожую на рои пчел, когда они, выпущенные на волю силами весны, теснятся и смешиваются в опьянении любви. И я сразу понял, что это оно, Чудище, стояло в центре и силой своего духа, по своей прихоти управляло ими. Я чувствовал, как его воля звала их издали и вела через равнину. Их гнала эта клокодавша в венах исступленность. Под их яростным топотом солончак напоминал огромное гумно. Я видел, как к ним присоединились еще несколько запоздавших манад. Последняя явилась с северной стороны и тут же растворилась в вертящейся массе. Я ничего не слышал, кроме топота копыт, прерывистого дыхания и стука сталкивающихся рогов. Луна стояла в зените. Как мелкие волны, взмывая, сверкали их спины. Многие животные, казалось, прибежали с далеких пастбищ. Я узнавал среди несшихся под луной — по блеску мокрой, дымящейся шерсти — тех, которым пришлось переплыть глубокие озера или одну из двух Рон.

Они кружились не переставая. И казалось, с каждой минутой все быстрее и быстрее. Рука Чудища, сухая и темная, короткими взмахами ускоряла бег, и они, как от удара ремня, устремлялись дальше. По мере того как они ускоряли движение, круг, казалось, расширялся, все более растягивался.

И вот я увидел, как Чудище поднесло к губам предмет, который я не очень хорошо разглядел. Мне, однако, показалось, будто я узнал в нем инструмент, похожий на тот, что я видел у людей, пасущих коз. И из этой чудной свирели, не меняя ни места, ни положения, он принялся извлекать звуки. Я стал различать за шумом, который производили животные, музыку — жесткую, дикую, действовавшую мне на нервы. При первых же звуках испуганные животные остановились, но тут же ринулись дальше, захваченные еще сильнее таинственным ритмом. Они кружились, соразмеря друг с другом свой бег, то замедляя его почти до шага, то прыжками переходя на тяжелый галоп, а Чудище было похоже на всадника, который, сидя на хорошо вымуштрованной лошади, с удовольствием натягивал и отпускал поводья, и, казалось, оно чувствовало жесткую радость, усиливая или умеряя их пыл.

Я видел это отвратительное зрелище. Я видел его своими глазами; сколько времени это продолжалось, теперь я не могу определить, но, очевидно, несколько часов. Чудище играло на свирели, и зрачки его сверкали. Мелодия незаметно становилась все четче, а масса быков теперь перешла на рысь, очерчивая площадку гигантской орбитой. Когда Чудище, ускоряя темп, било о землю копытом, гигантская манада пускалась в галоп. Здесь были тысячи и тысячи диких животных. И наступило мгновение, когда галоп уже невозможно было остановить. С каждой секундой ритм его становился все исступленнее. И я уже ждал, что все это стадо, вконец обессиленное, собьется и смешается в кучу. Я сам не знаю, что со мной сделала эта музыка. Неудержимая дрожь пронзила меня с головы до пят, что-то огненное пробежало по мне, опалило мне горло и живот. Я чувствовал, как все трепещет во мне, и тело мое так ослабло, словно из него ушла вся кровь. Ноги мои подогнулись, и предсмертный пот пропитал мою полотняную блузу. А за собой я чувствовал горячее дыхание Кастора, храпевшего от страха возле моего плеча.

Вдруг Чудище перестало играть, подняло руку, и вся масса разом остановилась и, повернувшись, понеслась по кругу в обратном направлении. Трижды я видел, как менялось направление, видел этот жест, после чего раздирающая душу мелодия возникала снова. В тот момент, когда стадо поворачивало назад, животные с разбегу сталкивались и громоздились друг на друга. В ужасе я вглядывался в лицо Чудища, освещенное ярким лунным светом. Исступленная радость искажала его, какой-то холодный огонь, казалось, зеленым отблеском лег на его скулы и глазные впадины. Когда на мгновение он переставал играть, я видел его черный зев, разверстый в страшном хохоте.

Потом он снова принимался свистеть, и при каждой модуляции жалкая кожа на его боках и на груди безобразно надувалась и опускалась. Более быстрый темп вызывал и более яростный галоп. Давя друг друга и задевая рогами соседей, животные выпускали короткий хриплый рев. Два-три раза я заметил, как Чудище, покачиваясь на мохнатых ногах, перегибалось всем туловищем.

В одну из таких минут луна, следовавшая по своему пути, вдруг закатилась. Я не шевелился. Я отчетливо увидел, как в сумерках огромное колесо животных остановило свой бег и внезапно распалось. Я видел, как животные разделились на группы и каждая, не колеблясь, двинулась за своей манадой. Я увидел и моих, собравшихся возле своего вожака — Браконьера и медленно направившихся к топям Больших болот. Я тотчас же стал искать глазами Чудище, но оно исчезло. Тогда я поспешил сесть на Кастора — он весь дрожал от холода — и; тут же уехал; душа моя была в смятении, кровь лихорадочно пульсировала. Добравшись до хижины, я отпустил Кастора на волю и, совершенно разбитый, вытянулся на кушетке, не забыв, однако, прежде чем уснуть, нанести на левую руку длинный легкий порез лезвием моего ножа.

Эта отметина на следующий день не дала мне подумать, что все это мне приснилось. Чтоб не сомневаться, я сел верхом и еще раз проделал примерно тот же путь, которым ехал вчера. Я нашел свои собственные следы до Длинного острова, узнавая помятые кустарники в том месте, где я сидел в засаде под деревом, и висевший на конце ветки мой мешочек-сакетон. Объехав Большие болота, я сделал круг и нашел следы животных там, где они входили в воду и где выходили из нее. На солончаке с другой стороны я отчетливо увидел вокруг возвышения широкое сплошное кольцо взрытой земли, темневшее на серой почве.

Остановился я ненадолго — меня бил озноб, и, покачиваясь в седле, я весь дрожал, хотя кровь и горела в моих жилах. Я ехал собирать своих быков; на этот раз я сделал это с опозданием — они разбрелись по опушке леса возле Барышниной тропы. Тщательно пересчитав их, я без труда убедился, что все были на месте. Я не преминул отметить, что у большинства из них бока ввалились, а шерсть потускнела. Браконьер держался в стороне, он был неподвижен, казался больным и не щипал траву. Приблизившись, я заметил, что низ живота у него пропорот острым рогом и рана начинает воспаляться. Я двинулся в путь, угоня своих быков и предоставив ему полную свободу, а он, стоя неподвижно, смотрел, как мы удаляемся.

Снедаемый жаждой, я два дня ничего не ел. Но телесный недуг — это пустяк, он прошел быстро. А вот душевное беспокойство и угрызения совести отравляли мое одиночество. Не решаясь рассказать об этом, я чувствовал большой стыд, и еще более жестокий, чем прежде, Страх начал преследовать меня. Поскольку странное существо не покинуло Рьежа, следовало ли мне подвергать себя постоянной опасности встретиться с ним на пути? Став свидетелем всего того, о чем я здесь поведал, я спрашивал себя, где предел моим страхам; я в самом деле боялся за свой рассудок, не чувствуя в себе сил снова выдержать это наваждение.

Но мной владела и другая боязнь. Когда-то я думал, что задушил ее в себе, но теперь я все сильнее чувствую, что она возрождается. Как знать наверняка, не погубил ли я навеки мою душу преступным молчанием?

Конечно же, я видел на солончаковой поляне звериный шабаш; я видел, как существо с козлиными ногами опьяняло животных демоническим жаром. Признаюсь, что, спрятавшись в темноте, испуганный страшной сценой, я пытался еще раз искать прибежища в молитве и крестном знамении. Должен сказать, что в тот момент они не возымели действия; и лишь немного спустя луна скрылась и все вернулось к естественному порядку вещей. Я не знаю, что и думать. Не знаю. Быть может, вопреки моему первому решению, я должен был обо всем рассказать? Зачем понапрасну себя обманывать? Быть может, признание не принесло бы мне полного мира? Произошло столько событий, которые я не мог предусмотреть. Не следовало ли мне попросить отца аббата выслушать мою исповедь и смиренно и искренне признаться ему во всем? Но как

решиться на это? Как осмелиться теперь, когда к причине, останавливавшей меня с первых дней, прибавилась еще и другая, которой я не могу пренебречь?

После того как я сделаю признание, не должен ли я буду доказать столь сверхъестественное утверждение? Не станут ли они вновь искать Чудище? Они будут наверняка преследовать его! Чудище! Я его страшусь с тех пор, как узнал о его могуществе; верю, что оно сумеет за себя постоять. Но прежде всего как можно его предать? Мне жаль его. Я уже слышу, как несутся над озерами и над островками крики преследователей и охотничьи рога всадников нарушают великую тишину Рьежа. Я вижу эту охоту — галопом по пескам Морнэ всадники исчезают, точно мираж, а в это время затравленное дряхлое тело, испачканное тиной, убегает, скрываясь то в одних, то в других зарослях. Я вижу его тоскующие глаза, вижу, как напрягаются его дрожащие ноги. Это невозможно! Один, всегда один! Борясь с самим собой, я слишком ясно представляю себе все это. Все. Добыча, наконец, окружена, взята, и отец аббат на солнце изгоняет нечистую силу из этого полудемона, а несчастное существо, скрученное и, может быть, избитое, волочится по земле за лошадьми до самого аббатства. На какой позор, на какую пытку? Я не согласен быть свидетелем этих мук. Я боюсь упрека в этих испуганных, грустных глазах. С того дня когда я начал ему помогать и увидел, как текут по его лицу человеческие слезы, несмотря на ужас и отвращение, которые я временами не могу в себе подавить, я ношу его дружбу в крови как болезнь. Как лее сказать? Как выдать его?

Вот те мысли, которые непрестанно борются во мне, особенно с той ночи, когда я увидел кружение живого колеса возле низины Империи. Поочередно они владеют мною, и странная вещь. Чем дальше все это удаляется во времени, тем сильнее надо мной его власть. Молчать? Не лучше ли все что угодно, только не эта мука?

Но страдания для меня ничто; сегодня единственное, что меня тревожит — это забота о душе. Начиная эту тетрадь, я утверждал, что за всем этим не должно подозревать дьявольской хитрости. Уверен ли я в этом теперь? Не обязан ли я, во всяком случае, довериться моим духовным наставникам, перед которыми в ответе за свои грехи? Я пойду. Я чувствую себя неспособным более нести этот невыносимый груз.

Нужно освободиться от этой тайны. Несмотря ни на что, — а что станет с этим существом, мне все равно. Однако не рискую ли я сам? Выслушав рассказ о том, что я видел на берегу Ваккареса и в Рьеже, не примут ли меня за умалишенного или за бесноватого? Тем лучше, ибо тогда все мучения падут на меня. Мучения? Боже мой! Ограничатся ли они тем, что запрут меня в одной из темниц аббатства? Я видел эти темницы — я бы умер там. Есть еще и «допрос с пристрастием», говорят — почти невыносимый допрос, который лишь немногие из невиновных могут выдержать. Я невиновен. Святой Иаков, мой покровитель, поддержит меня. Все вечера я молюсь ему, обратив лицо к звездному пути, носящему его имя. Я должен все рассказать. А что, если меня объявят колдуном? Колдуном? Только за то, что я видел? Да, часто и этого достаточно. Разве можно забыть историю с солеваром?..

Хорошо! Пусть делают со мной все что захотят. Надо рассказать, и я расскажу. Сегодня вечером, как только я кончу писать эти строки, я встану на колени перед маленьким распятием, которое висит в моей хижине; оно да еще семейный календарь — это все, что мой досточтимый дядюшка оставил мне на земле. Это та реликвия, перед которой я никогда не принесу ложной клятвы. Я покаюсь, я дам обещание сделать все как надо, я чувствую, что дам. И завтра, тотчас после завтрака, после того как я проведу мою скотину, я оседлаю Кастора, чтобы поехать в аббатство и покаяться во всем.

В аббатство или Виль-де-ля-Мер? Туда или сюда. Может быть, все же лучше в аббатство?

Что касается этих страниц, то я открою тайну отцу аббату, и все будет так, как он решит. Если он прикажет, я их уничтожу.

Поеду завтра, и вечером великий покой снисходит на меня. Я твердо решил. Я расскажу.

Я не рассказал. Все лето и часть осени отделяют эти строки от предыдущих. Я снова берусь за перо, потому что несколько дней тому назад, вернувшись в Ръеж, я почувствовал, как возрождается вся моя тревога.

Вот уже двенадцатый день ноября, а поехал я в начале июня. Записав в этой тетради, как вы уже знаете, все, что нужно было записать, я вечером улегся спать. Проснулся я, как обычно, чуть свет, не забыв ни принятого мной после долгих сомнений решения, ни обета, который я дал. Наоборот, эта мысль была первой при моем пробуждении. И я искренне желал осуществить ее и делал все возможное, чтобы исповедаться. Все знают, как наши мысли изменяются под воздействием сна. Я поклялся и ни о чем не жалел; хоть я и не хотел себе в этом признаться, но позже, по размышлении, я понял: я был рад всему, что могло бы помешать мне выполнить свое обещание. Я уже не так болезненно переживал мои вчерашние волнения.

И все же я готовился. Оседлав лошадь, я было собрался, хотя есть и не хотелось, позавтракать; нельзя же было ехать натошак в Виль-де-ля-Мер — там я рассчитывал повидаться со священником, прежде чем явиться в аббатство,— как вдруг услышал ржание моего коня, точно он отвечал какой-то лошади. В тот же миг тень всадника легла возле двери моей хижины, и я встал из-за стола, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Каково же было мое удивление, когда я узнал Лувиса Добрую Сделку, моего брата, который, спешившись, со смехом спросил меня:

— Как аппетит, Жак?

Я от всего сердца пожал ему руку, глядя ему прямо в глаза и положив другую руку на плечо — как это принято у нас, пастухов: ведь мы уже давно не виделись,— а потом нехотя ответил:

— Да, да, спасибо, все в порядке...

— Можешь быстро собраться? Отец хочет, чтобы мы отогнали быков на подножный корм — на болота Псалмоди или на большой луг у Костьеры.

— Послушай...

— Никаких «послушай», ты это хорошо знаешь. Когда отец приказывает, нам остается только повиноваться. Он лучше нас знает, что нужно скотине, и вообще он — наш наставник. Так вот, дай мне чего-нибудь поесть, потому что о супе с чесноком, который я съел на рассвете перед отъездом из Пинеды, я уже забыл и думать.

Я усадил брата за стол, и он вместе со мной позавтракал анчоусами с луком, приправленными оливковым маслом и уксусом, и куском овечьего сыра. Чтобы отпраздновать его приезд, я открыл банку, в которой сохранял виноград панса, маринованный в уксусе и меду. Пока он отдыхал после еды, я подготовил все, что было нужно из одежды, а также рыболовную и охотничью снасть и сложил все это в две вьючные корзины, которые повезет Белый Павлин. И сразу же, напоив коней и подтянув подпруги, мы отправились, чтобы прочесать лес и выгнать наших животных, а потом, по обыкновению, пересчитать их, перед тем как угнать на время в другое место.

Не могу выразить охватившей меня в этот момент тоски. Пока мы гнали скот через заросли, как принято, стуча трезубцем по веткам с криком: «Хэй, хэй-хэй! Хэй!», меня преследовала и не отпускала одна мысль. То было с каждым шагом увеличивавшееся беспокойство и боязнь увидеть, что вот сейчас появится и кинется наутек от лошадей тот, которого знал я один. И что — я так этого боялся — он попадет еще кому-то на глаза. Вот почему я старался кричать как можно сильнее, чтобы уже издали был слышен шум. Брату я предложил делать то же самое, втайне надеясь оповестить весь лес о присутствии посторонних.

— Кричи,— говорил я ему,— иначе скотину не сдвинешь с места, ведь если она здесь хорошенько

обосновалась, то даже окрики пастухов ее не испугают.

Но каждый раз, когда потревоженное животное, щипавшее траву, внезапно с шумом вылезало из-под густых ветвей мастикового дерева или можжевельника, я подскакивал в седле. Признаюсь, я боялся чутья моего брата — а у него был пастуший глаз, — и я боялся, что если он только начнет расспрашивать меня о каких-нибудь следах, то сразу увидит мое волнение. Но он ничего не заметил. И только один раз, когда манада рассыпалась по поляне, объезжая ее вокруг, чтобы пересчитать животных, он с недовольным видом, не глядя на меня, сказал:

— Я, право, не знаю, что с твоими быками: ведь сейчас сезон и трава здесь есть, а быки твои, черт возьми, не очень-то жирны! И сам ты не иначе как схватил лихорадку, потому что ты худой — одни кости — и лицо мученика. Вот видишь, наш отец был прав, заставляя перегнать быков на другое пастбище.

Больше ничего особенного он не сказал, только по пути вскользь заметил:

— Знаешь, Жак, мне кажется, если б я был на твоём месте и пас бы быков в Рьеже, то уж непременно поел бы знаменитой ветчины. Тут, наверно, полно здоровенных кабанов.

Я вздохнул, почувствовав облегчение, и подумал, что если бы Лувис немного раньше увидел на опушке моих быков, загнанных и отощавших, с взъерошенной шерстью, я даже не сумел бы объяснить ему, почему они такие. Что было бы тогда? С другой стороны, хоть я и не хотел в этом признаться, но, подъезжая к аббатству, я чувствовал облегчение оттого, что по причине этого неожиданного отъезда мне придется отсрочить покаяние.

В тот же день наше стадо благополучно и в полном составе пришло на обширное пастбище под названием Курежалъ, где мы его оставили под присмотром двух пастухов, поручив им, как у нас говорят, «заколдовать» скотину — то есть держать быков на одном месте, не давая разбегаться, всю ночь, — а мы с братом поехали ночевать в Хижины Цапли.

Я не стану рассказывать о нашем летнем времяпрепровождении — это не имеет отношения к моему повествованию. Летние месяцы для пастухов каждый год одинаковы. Все проходило, как заведено для бычьего стада. Несколько раз по приказу отца мы должны были отводить наших быков в город, где в праздники они бегали по площадям, огороженным деревенскими повозками. Так делали мы в Эмарге, в Кайларе, в Галларг-де-Монтюё. Все знают, с каким неистовством люди нашего края относятся к этому развлечению. В городке Вовере во время такого празднества один человек расстался с жизнью.

Как бы то ни было, должен сказать, что хоть я и ничего не забыл, но странные воспоминания, которые я унес с собой из Рьежа, поблекли от перемены мест, а еще потому, что жизнь здесь была деятельная и не такая уединенная, они перестали казаться, как прежде, долгой и мучительной одержимостью; и чувствуя, как уменьшаются мои мучения, я больше не считал себя связанным обещанием, которое счел по меньшей мере скоропалительным, хоть и не оставлял намерения, впрочем довольно неясного, вернуться к нему немного позже. Но находясь теперь вдали от опасности и от событий, которые меня терзали, я успокоился и не испытывал больше необходимости отправляться на поиски умиротворения. Понятно, никто не должен был знать, что я видел и что со мной случилось. Мне хотелось думать, что лихорадочным состоянием моего мозга я обязан болезни или каким-либо другим причинам, а отсюда — тоска и угрызения совести. Бродил ли я с товарищами или работал, видения не посещали меня, как прежде, и я надеялся, что, вернувшись на зимовку, избавлюсь от них вовсе. И вот я вернулся. Но как только я оказался в одиночестве, так сейчас же на меня нахлынули мои терзания. Я не мог запретить себе на водопое и во время работы снова внимательно обыскивать все вокруг взглядом. Чудище не ушло. В дальнем конце озера Редон, в долине на восточном краю острова Восхода, на Длинном острове появились следы! Я боюсь его встретить. Мысль о новой встрече вызывает у меня дрожь — и от ужаса, и от страстного нетерпения.

Должен сказать, что я потерял моего красавца Браконьера. Он пал на болотах Псалмоди примерно через три недели после того, как мы туда пришли. Он перестал есть, ослаб и понемногу совсем зачах. Свежую его, чтобы похоронить, я заметил, что от удара рогом, который он получил, у него в животе образовался гнойник. Вот чем я обязан Чудищу — это моя мука и моя вина. И тем не менее стоило мне заметить его следы, как Ръж перестал быть для меня безмолвной пустыней.

Теперь я снова буду жить в страхе и в ожидании, отчетливо чувствуя, что снова витает вокруг меня и опять, опять возвращается то безумие, которое я уже считал навсегда изгнанным.

Сего 18 ноября

Я его видел. Я его снова видел.

До сих пор погода держалась тихая и мягкая, ко вот уже пять дней, как бушует восточный ветер. Ледяной ветер ревет и переворачивает в небе тяжелые облака, они разверзнутся, как только утихнет шквал.

Утром я спешно пригнал манаду с выгона, чтобы укрыть ее в лесу, и в тот момент, когда я вошел в заросли острова Восхода, Кастор вдруг подбросил меня. По тому, как он прыгнул, по тому, как дрожали все его четыре ноги, я понял, что где-то совсем близко находится Чудище. Я тут же заметил его — оно согнулось в три погибели под кустом и уставилось на меня дикими, испуганными глазами (такие глаза я видел у него при первой встрече). Чудище, казалось, не узнавало меня. Оно невероятно похудело, жалкое тело его превратилось в страшный скелет. Теперь его сухая кожа словно была приклеена к большим костям. Оно как-то ссохлось, все осело, и на немощном, сморщенном лице не осталось ничего, кроме ввалившихся глаз, в которых тлело угрюмое пламя. От всего его существа исходила такая беспомощность и слабость, что несмотря на овладевшее мной омерзение сердце мое сжалось. Внезапно глаза его, остановившиеся на мне с дикой неподвижностью, загорелись, как у раненого зверя, почувствовавшего себя в полной зависимости от охотника; затем Чудище отскочило и резко повернуло голову, словно готовясь бежать; но вместо этого оно лишь вздохнуло, и я увидел, как его сухая рука вцепилась в грудь. Оно не двигалось. Меня осенила мысль. Я порылся в мешке в надежде найти что-нибудь съестное, но я выехал позавтракав и собирался вернуться, как только сгоню быков, а потому ничего не взял с собой. Меня охватила огромная жалость:

— Ты голоден? Ты голоден? Отвечай!

Чудище не шевелилось. Оно только уставилось на меня своим звериным взглядом, полным непонимания и страха. Молено было подумать, что оно впервые меня видит.

Тогда не колеблясь я повернул коня и, подгоняемый порывами ветра, галопом поскакал к своей хижине. Небо все больше нависало, серое море пенилось, лизало берег. Я пришпорил Кастора. Я был в нетерпении, усиливавшаяся непогода приводила и меня в отчаяние. Я схватил в хижине фунтовый каравай хлеба, орехов, яблок и кое-как засунул все в мешок. Я выехал тотчас тем же аллюром, но, приближаясь к острову, придержал коня, чтобы не испугать Чудище. Напрасная предосторожность. Оно уже исчезло.

Я пытался его найти, наугад направляя лошадь сквозь можжевельник и мастиковые деревья, но, никого не обнаружив, вернулся к месту, где увидел его, и, чтобы лучше разглядеть следы, слез с коня; но вскоре я потерял их: здесь были особенно густые заросли.

Я не мог не торопиться — ветер постепенно стихал и с минуты на минуту грозил вообще прекратиться. Я был уверен, что пойдет сильный дождь, и без плаща не решался уходить далеко. Но я настойчиво искал следы, снова и снова колеся вокруг зарослей. Так я обыскал весь островок, но безрезультатно и потому решил привязать мой мешочек там, где раздваивалась ветвь, надеясь, что инстинкт и голод приведут сюда Чудище.

Сего 21 ноября

Вот уже три дня и три ночи, как идет дождь.

После шквала, как это бывает осенью, ветер сразу стих и пошел ливень. Он сейчас такой сильный, что я едва решаюсь приоткрыть дверь, чтобы впустить луч дневного света, а сквозь мою тростниковую крышу, покатую и плотную, вода протекает во многих местах. Когда я выглаживаю в приоткрытую дверь, я не вижу ни неба, ни горизонта, хлещет дождь, заволакивая все вокруг, и по воздуху, как по земле, ручьями льется вода.

Дни бесконечны; приговоренный к безделью, я провожу их как могу. И все же светильник-«калеу», который я зажег, и пламя камина помогают мне писать эти строки. Я ничего не слышу, кроме грохота дождя и шума моря, которое перекачивается валами, заливая озера. Ночи кажутся мне еще более длинными, потому что я почти не сплю. Я думаю иногда о моих быках, но, несмотря на плохую погоду, я не слишком беспокоюсь, потому что от холодных ливней для манад нет лучшего укрытия, чем островки Рьежа. К тому же стадо вдоволь на-щипалось травы, быки хорошо откормились и снесут самые большие ненастья.

У меня другие тревоги. Как позабыть хоть на время о Чудище, об этом несчастном существе, которое я увидел в лесу? Какое оно стало худое, каким казалось слабым, беспомощным! Почему оно так меня боится? И куда оно скрылось? Ведь даже если оно ушло далеко, я должен был бы все равно обнаружить его следы в низине. Скорей всего оно не покинуло острова Восхода, и я представляю себе его там, а может, где-то здесь, совсем рядом: пригнувшись, оно прячется в кустарнике, обессиленное, дрожащее, и холодная вода струится у него по спине.

Я забываю все мои страхи, всю мою злобу. Оно всего лишь несчастное существо. Мне жаль его. Нашло ли оно еду, что я оставил в мешочке? Ведь если оно не забрало мешочек сразу, хлеб вымокнет и раскиснет от дождя... Как только непогода стихнет, я выйду.

Сего 22 ноября

Дождь все идет, холодный и частый. Ветер все время дует с востока, и ночь и день шумит море.

Вчера вечером случился переполох. Уже стемнело, я только что поужинал, и лег на свою кушетку, но не мог уснуть — тело не отдыхает, не утомленное ни ходьбой, ни работой. Слышался только шум дождя, стучавшего по крыше. Небольшие капли кое-где равномерно падали ка пол хижины.

И тут вдруг моя собака Расклет, глухо заворчав, поднялась и с лаем кинулась к двери, но сразу же остановилась и завyla так, что я задрожал с головы до пят. Потом Расклет ползком забрался под мою кушетку и лежал там, то и дело повизгивая. Я встал и, запалив в очаге щепку, зажег светильник, чтоб видно было. Как ни хотелось оставаться в тепле под одеялами, неотступная мысль подгоняла меня. Расклета мог, без сомнения, напугать запах волка или невесть какого еще дикого зверя, но я-то уже знал, что еще могло заставить его так скулить. На всякий случай я осенил себя крестным знамением и, поставив лампу на край стола, взял двумя руками свой трезубец. Невзирая на воду, плескавшуюся у порога, я открыл дверь настежь. Я стоял довольно долго и, дрожа от холода и страха, тихим голосом заклинал злых духов удалиться; но как я ни зывал к Расклету, как ни приказывал ему, собака не желала вылезать из своего убежища. Я не сердился на Расклета — зная его смелость, я понимал, что для столь сильного волнения, конечно, у него были какие-то причины, которых человеку не; понять.

До рези в глазах я вглядывался в темноту, но ничего особенного так и не заметил. Правда, мне показалось, что два раза какая-то тень мелькнула в ночном мраке под дождем. Но можно ли утверждать что-либо определенное, когда в животном страхе вглядываешься в темноту с масляным светильником в руках — совсем один, где-то в Рьеже, у открытой двери хижины?

Сего 23 ноября

Ночью дождь стал затихать. Наконец утром я смог выйти из хижины. Я тут же отправился к своим лошадям — сейчас я знал, где примерно мог их отыскать. Первой я нашел Лунную — она сразу попала мне, эта обжора и лакомка, стоило ей почуять запах овса. Я оседлал ее и, закутавшись в большой плащ из просмоленного холста, поехал в лес. Там я мог проверить свое стадо и убедиться, что оно не пострадало от непогоды. Оно было совсем в неплохом состоянии, даже самая хилая из коров — молодая матка, отелившаяся в прошлом сезоне; она кормила теленка и потому сильно отошала.

Сакетон был не тронут и висел на том же месте, где я его оставил. Хлеб, отяжелевший и пропитавшийся водой, как губка, заполнил весь мешочек. Я не стал вынимать хлеб — так было удобнее донести сакетон до хижины. Из этого хлеба я приготовлю суп для Расклета, потому что хлеб — священная еда, дар Провидения, и выбрасывать его большой грех. Но я чувствовал в душе своей глубокую печаль. Где теперь .Чудище? Кроме нескольких дрянных корешков и сладковатых пахучих ягод можжевельника, которыми довольствуются лисы, когда их прижмет голод, нечего больше ему есть в эту пору в Рьеже.

Дождь, правда, стих, но не перестал. Сегодня невозможно отъехать подальше. Однако погода, наверно, скоро переменится. Воздух уже свежеет. А море еще беспокойно. Слышно, как оно накатывает волны и гневно колышет дальние озера, вот почему этот глухой ропот наполняет мое сердце завораживающим страхом.

Сего 24 ноября

Как и надо было ожидать, после столь долгого дождя налетел ветер. Прежде всего западный ветер — ларгада — разогнал облака; это добрая и безошибочная примета. И вот я уже вижу, как светит яркое солнце над еще беспокойными водами и мягко поблескивающими солончаками. С севера временами прорывается острый и быстрый порыв мистралья. Если погода снова наладится, то в конце ноября у нас будут хорошие дни, потому что погода меняется в новолуние, а оно начинается сегодня.

Все вокруг, кроме леса, почти целиком под водой, море и Ваккарес вместе с нижними озерами образуют сплошное водяное пространство, и лесистые пригорки выступают из него совсем как острова.

Я не беспокоюсь о зиме. Животные, как уже я говорил, вернулись упитанные. Рьеж, где все лето не было скота, сохранил между группами деревьев обильную траву. Новые дожди дали нам на долгое время пресную воду. Нет, не забота о скоте меня терзает; я так и не могу превозмочь себя и думаю все время о другом. Мне необходимо найти его и, если будет возможность, прийти ему на помощь, я это сделаю, чего бы мне это ни стоило.

Сегодня уже поздно, но завтра с рассветом я поеду. Чтобы ничто меня не задерживало, я оставлю здесь ночевать Руана. Трава и вода есть, погода отличная, и я смогу на островах оставить свой скот на несколько дней, чтобы он пасся сам по себе.

Я постоянно вижу это дряблое, худое тело, это лицо призрака и эти смертельно изнуренные, исполненные страха глаза. Я не могу думать ни о чем другом — это слишком ужасно. Человек ли он, как и я, или нет — какая разница? Я не могу его покинуть.

Сего 10 декабря

Я ищу и ищу, без передышки. Вот уже много дней. Я встаю до зари и, наспех проглотив суп, объезжаю всю местность на Лунной или на Касторе.

Вот, к несчастью, и вернулось время года, когда ночи становятся долгими. Солнце вечером заходит рано, и тут же наступают сумерки. Дело снова идет к холодам. Мистраль улегся, и начинаются заморозки.

Со вчерашнего дня я не перестаю раздумывать о том, что представляется мне достаточно важным, чтобы удерживать мое внимание. На краю острова Восхода я заметил следы — как раз те, которые ищу. Они, очевидно, недавние. Неровные, едва заметные, они внезапно остановились возле кустарников, под которыми земля поверху была взрыта. Больше я ничего не нашел, хотя и обыскал всю округу. Вот и все. Этого мало. Но все же это существенный знак. Надо заметить, что всюду, где почва покрыта травой или кустарником и где земля затвердела от заморозков, следов быть не может.

Весь день я опять пробродил без пользы. Я обнаружил, однако, и другие следы, направлявшиеся из Малагруа, но мне они показались гораздо более старыми.

Каждый раз, возвращаясь в хижину, я чувствую тяжесть на сердце. Но уже не ту, из-за которой раньше мои дни и ночи были невыносимы. Если я о чем и сожалею, то только о том, что покинул в беде существо, с которым я таинственно связан, а также и о том, что не предвидел подобных страданий.

На меня снизошел теперь истинный покой. Я не боюсь ни чар, ни тайн, которые раньше, казалось, угрожали мне. Меня не гнетут больше сознание вины и угрызения совести, отравлявшие прежде даже самые безобидные мои дела. Теперь каждый вечер я с усердием повторяю святые молитвы. Если я и в самом деле видел нечто удивительное — то, что описано мною здесь,— значит, Провидение позволило мне стать свидетелем всего этого. Теперь у меня только одна цель — милосердие, к которому оно меня обязывает, так как я верю, что помогаю божьему созданию.

Сего 12 декабря

И все же надо было стеречь манаду. Нехорошо, когда быки даже в довольно пустынной и свободной местности рассыпаются, предоставленные самим себе, и не чувствуют присутствия пастуха. Они дичают, и ими трудно управлять.

Я должен был на несколько дней бросить свои поиски или по крайней мере ограничить их, пока я занимаюсь стадом. И вот, предприняв их снова, в это утро я снова пишу, исполненный лихорадочной нерешительности.

Должен сказать, что восточный ветер, поднявшись после заморозков, в течение двух дней налетал шквалами. Не принесет ли он опять нам больших дождей? Сейчас у нас воды больше чем достаточно, и я надеюсь, что восточный ветер перейдет в трамонтану. Сегодня я объехал весь запад Рьежа, пробираясь низиной Империи. Я не заметил здесь ни одного нового следа. По правде говоря, низина все еще затоплена со времени последнего дождя, и под этой водяной поверхностью, взбудораженной ветром, почти невозможно различить отпечатков.

Свернув в сторону, чтобы проехать Малагруа, и избежав топи, я направился к Большой Бездне. Большая Бездна, как известно, это один из страшных омутов, наполненных черной жижой, его поверхность не так уж обширна, но он очень опасен, и никакими шестами не достанешь его дна. Все, что попадает туда, неумолимо засасывается глубинами, и это опасно для людей и для животных. Я огородил его несколькими колышками, чтобы было заметно издали, эти колышки служат мне знаками, вехами. Я тщательно воткнул их на каждой пяди опасного края там, где почва еще твердая.

Итак, я направился к Большой Бездне и вначале не замечал ничего необычного. Но приблизившись, я увидел в самой середине липкой грязи какую-то массу, похожую на ствол засохшего дерева, заканчивающийся на одном конце двумя корнями. Этот предмет лежал наклонно, одним концом выступая из болота, а другой, вероятно, был затянут бездной так, что он скрылся в воде. Но на расстоянии я не мог разглядеть ничего подробно. Сколько времени он будет еще виден, прежде чем исчезнет навсегда? Недолго, конечно. Это соображение вдруг взволновало меня. Думая об этом, я почувствовал, почему — не знаю, как меня охватила тоска. Что сулит мне этот бесформенный, измазанный грязью обрубок? Я спрашивал себя, как мог он попасть в бездну,

и, признаюсь, мне трудно было это объяснить. А может быть, и очень просто. Подхваченный морским приливом или сильным ветром на опушке леса, он плыл, пока толща воды была достаточна, и случайно задержался как раз над бездной, которая начала его засасывать.

Чтобы лучше разглядеть этот предмет, я слез с коня и шагнул четыре шага по направлению к первому колышку, в северную сторону; зная, что каждый следующий шаг — риск и может означать страшную смерть, я развязал мой шнур и, намотав его на руку так тщательно, как если бы надо было поймать лошадь или быка, закинул на обломок, стараясь как можно шире раскрыть петлю. Но напрасно. Ветер с моря с жестоким безразличием обманывал мои лучшие расчеты и задерживал шнур или относил его, спутав скользящий узел. Шнур все больше пачкался и тяжелел, ударяясь о поверхность болота. В конце концов, ничего не добившись, вспотевший и вместе с тем продрогший, натерев руки и промочив ноги, я ушел — ведь к тому же с самого утра я ничего не ел.

Слишком короткий в это время года день не позволил мне, когда я подкрепился, снова пуститься в путь. Завтра с рассветом я вернусь к Большой Бездне, захватив огромный, самый большой шест; я привяжу к нему какой-нибудь груз и таким образом утяжелею петлю.

Почему же этот обломок так меня беспокоит, так не дает мне житья? Чтобы увидеть его вблизи, я должен вытащить его из трясины целиком. Я думаю, что какое-то время он еще будет торчать. Во всяком случае пройдет дни, прежде чем тина засосет его.

16 января 1418 года

Вот уже больше месяца я не брал в руки этой тетради. Я открываю ее в этот вечер несмотря на то, что мне почти не о чем писать.

На следующий день после того, о котором шла речь, я вернулся к Большой Бездне. Встал я очень рано и оказался на месте еще до того, как совсем рассвело. Вопреки моим ожиданиям обрубок исчез. Трясина ненасытна и работает быстро. Напрасно я пытался достать до дна моим шестом; стараясь подойти поближе, я провалился выше колен и с трудом вылез, испуганный насмерть и перепачканный зловонной жижей.

Вернувшись в Ръж, я все же продолжал свои поиски. Не проходило и дня, чтобы я старательно не объезжал хотя бы один островок. Я пускал моего коня через леса и ручкой трезубца шаг за шагом обшаривал заросли. Я ничего не нашел. На верхней точке Длинного острова я обнаружил несколько следов, но они показались мне старыми. Мой сакетон так и висел нетронутый, и все же я регулярно проверял его, изредка обновляя в нем провизию. Так я буду делать и впредь некоторое время, чтобы не мучиться потом угрызениями совести: посмотрим... Теперь я знаю всю округу на много лье, всю всплывшую землю, и только островом Редон мне нет нужды заниматься, поскольку в этом году он не менее трех месяцев будет под водой.

На этот раз Чудище ушло или умерло. Я чувствую себя одиноким. Прошел год с того времени, как я, разгоряченный, верхом преследовал какую-то необычную добычу и, шлепая по болотам и солончакам, выслеживал таинственные следы до выгонов или вдоль границы Бадона. Я знаю, что яд, просочившийся в мои вены, я буду носить до самой смерти. Страх, дружба, тайна; раскаяние, угрызения совести...

Мой пес Расклет со мной, он лежит у моих ног, время от времени подымает голову к лесу и скулит, а потом сворачивается клубком, шерсть у него мокрая, и он дрожит. Я слышу, как неподалеку от хижины тяжело топчется Кастор, неуклюже подпрыгивая на месте, потому что на ночь он стреножен.

Завтра продолжу поиски. Чудище ушло или умерло. Если же нет, то я найду его. Отныне, поскольку я ничего не мог обнаружить, мне кажутся бесполезными мои записи. Я снова возьмусь за эту тетрадь только в том случае, если смогу записать какие-то новые факты,

Отныне я буду искать и искать всегда, не падая духом, искать без устали, несмотря на то, что я с некоторого времени все чаще вспоминаю тот наполовину погруженный в Большую Бездну обрубок с двумя корнями, обрубок, который на следующий день поглотила Большая Бездна.

Послесловие

Жозеф д'Арбо — выдающийся мастер окситанской литературы... У нас слово «окситанская» известно одним филологам-романистам, и только редкий читатель заменит его более привычным — «провансальская» литература. Действительно, эта литература ведет свое происхождение от провансальских трубадуров, научивших искусству стиха всю Европу: но нынешние ее представители называют ее «окситанской».

Окситании нет в административном, государственном смысле слова, в этом смысле ее не было и в прошлом, хотя на ее территории существовали когда-то свои княжества, графства, виконтства. Окситания — понятие прежде всего лингвистической географии; это область распространения особого романского языка, не укладывающаяся в границы исторического Прованса. Судьба литературы на этом языке прихотлива и, можно сказать, злосчастна. Блистательна была ее ранняя зрелость; в песнях трубадуров окситанский (провансальский) язык первым из всех романских создал высокую, непревзойденную литературу. Но повороты истории помешали нормальному национальному развитию Окситании, и, следовательно, окситанская литература, была лишена и питательных соков, и опоры. Не здесь рассказывать о долгой агонии средневековой словесности Прованса, Гаскони и других окситаноязычных земель — были, впрочем, и времена то действительных, то дорогих одним лингвистам или увлеченным историкам возрождений. Настоящее Возрождение окситанскому слову принес романтизм; творчество Ф. Мистрала, Т. Обанеля, Ж. Руманиля сродно всем попыткам XIX века вернуться к незамутненным родникам «народной души», восстановить естественную, но механической силой надломленную, едва не сломленную у корня традицию национальной жизни. Литературное движение XIX века во Франции или, например, Германии выглядело как борьба и смена направлений, стилей, школ, новизна отгалкивалась от старого и определялась на его фоне, обрисовывалась им. В провансальской литературе на деле не было «старого», так как наследие трубадуров и изживавший себя под натиском французского языка местный диалект не могли сомкнуться как два звена единой литературной традиции, к которой естественно примкнул бы поздний романтизм фелибров (так называли себя провансальские романтики). Они должны были не столько воссоздать, сколько создать литературную традицию, создать и утвердить ее основу — нормализованный литературный язык.

Поколение д'Арбо (1874—1950) — ближайших преемников романтизма — выросло под непосредственным присмотром прославленных учителей. Это поколение провансальских литераторов сумело как вы исподволь обновить родное слово, сделать провансальскую литературу литературой XX века. И д'Арбо, в своем поколении — одна из крупнейших фигур, задолго до смерти стал классиком.

Его биография проста. Он родился в семье, жившей литературными интересами, тесно связанной с провансальскими романтиками. В юности д'Арбо и сам встречался с Мистралем. Окончив университет в Эксе, он, в поисках подлинного Прованса, чистой, нетронутой природы, оставил город и поселился в Камарге — самой «провансальской» части Прованса. Камарга для романтиков и их преемников была средоточием национальной жизни; ее полудикая природа (которую читатель, должно быть, ярко представляет себе из сделанных влюбленной рукой и глазом, но точных описаний д'Арбо) была ландшафтом, более всех других сохранившим дух родной первобытности; ее пастухи были для них племенем истых провансальцев, верных заветам веков и нравом, и словом...

Д'Арбо не смог навсегда «отказаться от цивилизации»: несколько лет спустя нездоровье заставило

его вернуться из камаргской идиллии в Экс. Долгие годы он был редактором местного литературного журнала; с глубоким восхищением неизменно относились к нему провансальские литераторы — сверстники и молодежь.

«Для друзей и учеников его поэзия была предметом такого почитания, что даже трудно оценить ее историческую значимость», — пишут Р. Лафон и К. Анатолий, авторы недавней и самой полной из существующих «Новой истории окситанской литературы». Печатался д'Арбо скупой: первый сборник его стихов «Лавры Арля» вышел в 1913 году, в 1946-м — второй, «Расщелина», и посмертно — третий, «Болотные песни». Поэт выдерживал стихи, нимало не считаясь с тем, что менялись литературные вкусы, что стихи его, чем далее, тем менее отвечали мерке эпохи.

Прозу свою д'Арбо печатал столь же выношенной, отработанной, доведенной до совершенства: только во второй половине двадцатых годов — когда писателю было уже за пятьдесят — разом появляются «Цыганка» и «Чудище из Ваккареса» (1926), а затем «Дичь» (1929).

Из трех названных произведений д'Арбо важнейшее — повесть «Чудище из Ваккареса», представление о которой теперь может составить себе русский читатель. Одна из магистральных тем всей европейской романтической литературы получает в ней своеобразнейшее решение: тема разлада между современным человеком, человеком цивилизации, и естественным законом жизни, воплощенном и выявленном в природной гармонии. Д'Арбо принял крайнюю точку зрения: разрыв человека с космосом необратим, в самой природе иссякла жизненная сила, «умер Великий Пан» (русского читателя может поразить случайное, но знаменательное совпадение — при коренной противоположности приговора: «умер» и «жив» — портретов сатира у д'Арбо и Пана у Врубеля).

В лучшем случае человек, навсегда уязвленный, опаленный опытом случайного общения со стихией, способен «только искать и искать, всегда, не падая духом, искать без усталости», как решил пастух, покоровшийся выпавшей ему судьбе. Встретиться с Чудищем — то есть даже просто ощутить на себе и в себе незамутненный ток жизненных сил, не говоря уже о том, чтобы стать в естественную связь с законом цельной природной жизни, — нельзя, нельзя даже поддержать скудными дарами пастушьего достатка угасающую жизнь последнего фавна; «Чудище ушло или умерло», и пусть ты обязался «искать и искать», все равно неотступно преследует тебя видение «наполовину погруженного в Большую Бездну обрубка с двумя корнями... который на следующий день поглотила Большая Бездна».

Сила и горькая глубина д'Арбо в том, что смерть Великого Пана для него не есть личное, пусть глубокое, но уединенное горе. Еще дальше эта двойная трагедия — последнего сатира и свидетеля его смерти — от отвлеченных страданий на эстетическую тему надломленного «столичного» сознания. Это — трагедия всего духовного строя, духовного мира провансальского писателя, в конечном счете — его представлений о будущем его нации.

За трагедией пастуха — трагедия той культуры, исповедником и мастером которой был писатель. Потому именно и нашел себе смертное убежище последний сатир в Камарге, что Камарга виделась провансальским писателям последним оплотом и совершенным выражением патриархального мира, который донес в современность традиции древнего и средневекового Прованса, который сохранил в большей или меньшей неприкосновенности родной язык и с ним и в нем свое национальное своеобразие. Внимательно-пристальный взгляд д'Арбо не мог не видеть, что с успехами цивилизации Камарга гибнет, уходит в прошлое ее культура; поэтому не случайно, что трагический герой повести д'Арбо — пастух, фигура символическая для провансальских литераторов, олицетворявшая для них и настоящее, и будущее их народа. Д'Арбо видел, что сокращается число носителей провансальского слова — то есть исчезает самая возможность и необходимость существования провансальской литературы. И в мифологизированной форме — в варианте мифа о смерти Великого Пана — д'Арбо рассказал о смертельной боли, которую он испытывал за будущее своего народа и своей литературы. В этой исторической конкретности трагизма его мировоззрения — отличительная особенность произведений д'Арбо в сравнении со многими, порой и более тонкими, и глубокими творениями его современников на ту же, казалось бы, тему...

Трагедия едва народившейся и уже прославленной литературы обозначилась в неумолимом сокращении пространства, на котором звучала провансальская речь. Централизаторская политика Парижа французских королей еще в XVI веке запустила машину языковой унификации, и действовала она все успешней и успешней от века к веку, от десятилетия к десятилетию. Мощно способствовали угасанию провансальского слова успехи цивилизации: распространение обязательного (но франкоязычного) обучения, всеобщая воинская повинность (во франкоязычной армии). А далее — миграционные процессы, рост городов и сельское безлюдье... Этот экскурс в историю необходим, чтобы понять специфические провансальские обертоны впечатляющей вариации д'Арбо на общеевропейскую тему «умер Великий Пан».

Последние четыре года чередой проходят юбилеи д'Арбо: столетие со дня рождения, четверть века со дня смерти; русский перевод «Чудища из Ваккареса» появляется в пятидесятую годовщину опубликования подлинника.

«Иностранная литература», печатая перевод лучшей повести д'Арбо, расширяя знакомство русского читателя с окситанской литературой, тем самым отдает дань уважения памяти и делу замечательного окситанского писателя XX века.

Н. Котрелев